ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

3

1—9—4—0

ГОСЛИТИЗДАТ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ДВУХНЕДЕЛЬНИК
ПРИ ЖУРНАЛЕ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК»

3

5 февраля

1940

ГОСЛИТИЗДАТ

СОДЕРЖАНИЕ

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Стр.

И. САЦ. — «Освобождение» (книга В. Зырянова) 3

И. ГРИНБЕРГ.—«Утренняя черта (роман Л. Улина) 8

Ив. АНДРЕЕВ. — Стихи и поэмы Леонида Мартынова 13

Е. ДМИТРИЕВА.—«Кавказские рассказы» (книга П. Максимова) 17

Ф. ЯКОВЛЕВ. — Дешевая мораль (рассказы Ольги Зив) 19

ПО ЖУРНАЛАМ: А. ИВИЧ. — «Пионер» в 1939 году 22

КОРОТКО О КНИГАХ: М. Зингер — «Сигизмунд Леваневский». «Артиллеристы». Н. Минц— «Давид Гаррик». Б. Горин-Горяйнов — «Мой театральный опыт» 27

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Е. КНИПОВИЧ. — «Магеллан» (книга Стефана Цвейга) 29

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Л. ПИНСКИЙ. — Стихотворения Шевченко . . 32

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

И. СЕРГИЕВСКИЙ. — «История русской литературы» М. Горького 37

Н. БОГОСЛОВСКИЙ.—«Жизнь Чернышевского» (книга И. Новича) 40

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

А. РОСКИН. — Об Антоше Чехонте и Антоне Чехове 44

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

П. СКОСЫРЕВ.—Иван Алексеевич Куратов (100 лет со дня рождения) 50

М. ЖИВОВ. — Стефан Жеромский (75 лет со дня рождения) 53

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Новые книги 62

„Освобождение“

И. Сац

В книге В. Зырянова две повести («Освобождение» и «Карасан») и два рассказа («Бискунак» и «Женалий база»). Первая повесть посвящена красному партизанскому движению на Алтае в 1918—1919 годах, действие остальных трех произведений происходит в животноводческих совхозах советского Казахстана.

Об алтайских партизанах в нашей художественной литературе писали уже не раз. Повесть В. Зырянова отличается от других произведений об этом большом эпизоде гражданской войны прежде всего тем, что выдвигает на первый план другую, чем они, сторону исторических событий. Почти всех, кто только ни повествовал о партизанах, интересовала больше всего стихийность движения. В. Зырянов изображает превращение крестьянского стихийного протеста и неорганизованных восстаний в настоящую крестьянскую войну, идущую навстречу пролетарской социалистической революции. Сила объективных условий убедила восставших крестьян, что им необходимо влиться в общую вооруженную борьбу всех народов бывшей Российской империи и признать, что нет иного пути, как стать под руководство пролетариата и его коммунистической партии.

Движение, которое изображает автор повести, берет свое начало в местном конфликте, в борьбе семиреченских «расейских», то есть крестьян (на Дону они назывались «иногородними»), с казаками за землю. Раньше, до Октября, «расейские» не осмеливались предъявить свои права, — им слишком памятны были расправы 1905—1906 годов, когда казаки с помощью царских войск «усмиряли» крестьян, посягнувших на землю. Теперь, узнав, что в городе установлена советская власть, крестьяне смелеют и, когда им не удается получить земельные излишки миром, захватывают их силой. Казаки озлоблены, но не решаются на открытое столкновение; они решают выждать время. Это время скоро настает.

В поселок «расейских», расположенный рядом с казачьей станицей, приезжает из города большевик и зовет крестьян в Красную Армию, чтобы оборонять город от восставших чехов. Почти никто

Вен. ЗЫРЯНОВ. — Освобождение. Повести и рассказы. М. «Советский писатель». 1939. Стр. 188. Тираж 10 000. Ц. 5 руб.

на этот призыв не откликается: крестьяне охотно пользовались поддержкой новой власти, пока речь шла о земле, но защищать ее с оружием в руках они не хотят. Не надо забывать, что действие происходит в особых условиях Семиречья; гнет и эксплоатация здесь были очень велики, но велики были и темнота и предрассудки. Как ни тяготились «расейские» своим униженным положением, они все же привыкли считать казачьи привилегии узаконенным самим временем стародавним обычаем, который был искусственно обострен политикой царизма. За эту ошибку крестьянам приходится жестоко поплатиться. Как только отступает под натиском Колчака, чехов и польских легионов Красная Армия, они не только лишаются захваченной земли, но подвергаются утроенным против прежнего издевательствам и поборам.

Но у контрреволюции, одержавшей победу, нет веры в прочность положения. Вот пример — деревенский богатей, лавочник Гредасов:

«...казалось Гредасову, что не ушли большевики, а тут они где-то, притаились кругом. Душила злоба. Хотелось всю деревню, всю волость, уезд, Сибирь застращать, перепороть...»

Страх и злоба заставляют буржуазию, в том числе и казацкого старшину, забыть всякую осторожность, террор принимает дикую и беспричинно широкую форму. Это одна сторона «предметного урока», который получают крестьяне, доверившиеся буржуазии. Другая — и не менее важная — это то, что с нарушением ровного и привычного течения старого жизненного уклада обнаружились скрытые прежде от сознания людей классовые отношения: противоречия между казаками и «расейскими» оказались менее существенными, чем противоречия между богатыми и бедными в обоих «сословиях» семиреченского сельскохозяйственного населения. Еще под игом колчаковщины крестьяне начинают по-настоящему осознавать свои подлинные классовые интересы и свои действительные политические цели.

Расслоение начинается и среди казаков: безземельные и малоземельные вскоре убеждаются, что долго и, должно быть, напрасно им придется ждать обещанных выгод. Правда, и эти казаки чересчур привыкли гордиться своими «привилегиями», чтобы сразу же соединиться с крестьянской беднотой; но повесть Зырянова не только показывает, как подготовлялась почва для позднейшего перехода трудовых казаков на сторону советской власти, но и то, как ослаблялась контрреволюция еще неясным, неосознанным и робким протестом даже в тех ее частях, в которых она видела свою главную опору. Зажиточные казаки тоже недовольны: продолжающаяся война не позволяет им заняться своим хозяйством; политические цели белого «правительства» чужды и им. Вот характерная сцена:

«— Бросайте, дядь Лимон! Айда в правленью. Винтовки бери!

— Что стряслось-то? — снова спросил Лимонка.

— Тьфу, трафи вас! Сказано, бросай — значит, бросай, — повысил голос Спирька. — За землей первые тянетесь, а тут не своротишь. Шугайлов объявился! Офицера убил. Милиционеры за подмогой прибежали.

Лимонка озлился.

— Офицера не вернешь, а крышу крыть надо!

— Атаман приказывал, — чтоб духом!

— Ему что, у него все в порядке. Пущай расейских пригонит крышу крыть. Тогда поедем.

— Ну, люди! — озлобленно плюнул Спирька и, повернув коня, ускакал.

— Хоть их всех там перебей — не поеду, пока людей не дадут! — ворчал Лимонка»

Что до крестьян-бедняков, то они научаются мыслить и политически. Один из них рассказывает эпизод партизанской борьбы:

«В Притышной поп с колокольным звоном и с крестным ходом нас встретил, а писарь с красным знаменем, а на знамени написано: «Долой Колчака, да здравствует Учредительное собрание». Знамя вилами изорвали, а писаря Гришка Петров нагайкой отхлестал: «Не обманывай народ! Знаем теперь, как из Учредительного собранья Колчаки выскакивают!»

Эсеры не могут даже частично восстановить свое прежнее влияние. Крестьяне идут за большевиками.

Раньше крестьяне относились безразлично к опасности, угрожавшей советской власти. Теперь достаточно слуха о том, что к их местам приближается Красная Армия, чтобы повсеместно вспыхнули массовые восстания. Слух оказался неточным. Действительно, на фронте произошел резкий перелом: после приезда товарища Сталина, посланного на Восточный фронт ЦК партии, отступление прекратилось, ряды очистились от негодных командиров, и армия начала свой натиск, закончившийся разгромом Колчака. Но когда началось восстание в Семиречье, Красная Армия была далеко. Оправившиеся от первого испуга белогвардейцы, казачьи полки и прекрасно вооруженные части интервентов обрушились на почти безоружных крестьян. Пылают села, падают под сабельными ударами, умирают в застенках лучшие люди семиреченской деревни. Но крестьяне не сдаются, они кричат палачам: «хоть всю Сибирь сожги, большевистского духу не выжжешь!»

Очень интересно рассказывает В. Зырянов о том, как под ударами превосходных сил противника разрозненные и слабые партизанские отряды объединяются с помощью немногих большевиков, ставших во главе движения, в грозные полки и дивизии. Эта партизанская армия, — настоящая армия, управляемая из центра, координирующая свои действия с Красной Армией, борющаяся за дисциплину в своих рядах, — наносит колчаковцам с тыла весьма чувствительные удары. Боевой порыв необычаен. Достаточно привести название лучшей дивизии — «Железно-степная дивизия», «Приобский полк имени Сожженных Деревень», — чтобы понять, что бойцы этой дивизии жаждут встречи с врагом грудь с грудью и не остановятся ни перед чем, пока не уничтожат белогвардейщину.

Мы не можем пересказать и оценить детали этой повести В. Зырянова. Характеры персонажей не очень ярки, язык автора ровен и ясен, но тоже мало оригинален. Но в художественном изложении нет недостатков, которые мешали бы читать с неослабевающим интересом эту повесть, каждая страница которой содержательна и правдива.

Остальные три вещи, входящие в сборник «Освобождение» — повесть «Карасан» и рассказы «Бискунак» и «Женалий база» — посвящены жизни строителей советского животноводства в Казахстане.

В них сказывается то же главное достоинство В. Зырянова, которое мы отметили в повести «Освобождение», — хорошее знание быта и интерес к существенному, не заглушаемый (как это часто бывает в рассказах на «восточные темы») искусственной и банальной стилизацией. Читатель этих произведений получит конкретное ощущение серьезности и напряженной внутренней энергии того особого мира, о котором он узнает. Этой конкретности впечатления помогают и некоторые описательные моменты (описания природы, быта, труда в совхозах), в особенности те, в которых писатель не стремится специально к поэтичности, а строго фактичен и, может быть, даже несколько сух; именно здесь с наибольшей ясностью выражается у него поэзия самой жизни.

Иногда писателю удается верно и убедительно изобразить поворотные моменты в душе его героев, постепенные переходы в настроениях и мышлении. Но живое изображение характеров — не сильная сторона книги. Правда, и в этом отношении у писателя всегда есть такт, и мы не встретим ничего, что вызывало бы недоверие или досаду. Но почти всегда чувствуется, что автор исходит из заранее выработанных общих представлений, согласно которым и ведет своих героев. От схематичности Зырянова спасает то, что эти его общие представления богаты и серьезны; но все же иной раз он слишком поспешно ведет развитие характера по намеченному пути.

Этот недостаток сказывается, например, в повести «Карасан» в неточном и неполном использовании возможностей, заключенных в ней же самой.

Главный персонаж повести — девушка-ветеринар, хрупкий и телесно слабый человек, сумевший своей необычайной душевной силой сломить недоверие окружающих и добиться плодотворного влияния на всех окружающих. Директор совхоза и она любят друг друга, но их любовь остается невысказанной: обстановка требует, чтобы их отношения оставались дружественно-деловыми. Эта девушка умирает внезапно и трагически. Было триста телят, которым была сделана прививка против эпизоотии карасана. Среди них начался падеж. Распространился слух, что прививка содержит смертельный яд. Директор вынужден обратиться к следственным органам, чтобы выяснить, несчастная ли это случайность или вредительство. Подозрение, естественно, не может не пасть и на ветеринара, настоявшего на прививке вопреки протестам казахов-гуртоправов. Но следствие не может дать свое заключение немедленно, а ждать нельзя, иначе карасан уничтожит все поголовье. Директор решает обратиться к ветеринару с просьбой испытать прививку на нем; при этом он сможет установить ее непричастность к вредительству: не может быть, чтобы она своей рукой убила близкого ей

человека. Он идет к ней и застает девушку мертвой — она не вынесла тяжести напрасного подозрения и покончила с собой. В это время уже найдены вредители, доставляется новая партия вакцины из другой лаборатории, и совхоз спасен.

В этой повести прекрасное знание быта вступает в резкий конфликт с недостаточным знанием человеческого поведения и вызывает очевидные натяжки и промахи.

Почему директор должен был испытать вакцину на себе самом, а не, скажем, на одном теленке, которым можно было пожертвовать для этой цели? И разве нельзя было добиться более точного результата химическим анализом, чем испытанием на человеке? Полагаем, что намерение директора не имеет сколько-нибудь рационального оправдания и нужно было автору только для того, чтобы в данном случае искусственно обогатить человеческий облик героя.

И почему умерла девушка, почему она, всегда мужественная и выносливая, сломилась вдруг в течение немногих часов? Ведь никто не позволил себе бросить ей прямое обвинение, никто не оскорбил ее даже резким, враждебным словом. Если бы автор последовательно провел ту мысль, руководясь которой он побудил директора испытать вакцину на себе, естественно было объяснить эту смерть не намеренным самоубийством, но отчаянной попыткой удостовериться в безвредности прививки (в положении ветеринара это было бы гораздо естественней, чем в положении директора). Но в повести нет этой мотивировки, нет и других, более или менее убедительных; развязка повисает в воздухе.

Неожиданный и, конечно, непроизвольный комический эффект производит и следующее обстоятельство. Как мы говорили, директор скрывает свое чувство к девушке-ветеринару. После ее смерти он приходит к ней на могилу, но остается недолго, потому что не хочет, чтобы его там видели. Писатель так невнимательно отнесся к переживаниям своего героя, что вместо целомудрия и строгости сильного человека получилось нечто вроде бюрократического ханжества, доведенного до карикатуры, как бы кто из подчиненных не узнал о любви директора к служащей совхоза, хотя бы уже умершей.

Мы подробно остановились на недостатках В. Зырянова, несколько ослабляющих все произведения, особенно резко проявившихся в повести «Карасан», чтобы сказать, что и эта, самая слабая в книге, вещь во многом интересна. Интересен и весь сборник.

„Утренняя черта“

И. Гринберг

«Утренняя черта» — это роман о социалистическом освоении далеких побережий Охотского моря.

Место действия — суровый и неприступный край, таящий неисчислимые богатства. Действующие лица — маленькая группка большевиков. Она преодолевает все природные преграды, руководит трудовым перевоспитанием бывших воров и жуликов, преображает дикий, неосвоенный край.

Какие возможности открывались перед автором! С какими интересными героями мы могли встретиться в романе, как напряженно и увлекательно могло быть повествование, какие глубокие процессы могли быть раскрыты!

Но всего этого, к несчастью, нет в романе Леонида Улина. «Утренняя черта» — это произведение, лишенное ясного авторского замысла; произведение, в котором нет подлинно творческого отношения к изображаемой жизни, но зато в изобилии присутствует дурное литературничанье.

В самом деле, напрасно мы стали бы искать в «Утренней черте» образы хоть сколько-нибудь определенные и отчетливые. В романе встречается несколько десятков фамилий, но о людях, их носящих, нельзя составить никакого представления.

Вот, например, Карымов. Он один из руководящих работников строительства. Он старый друг главного героя Матвея Клюквина. Его имя часто мелькает на страницах романа. Но за этим именем не скрывается никакого реального содержания. Мы только читаем:

«Сводку Матвей передал Карымову, начальнику отдела снабжения». «Карымов делал короткие замечания». «Карымов, начальник всех промыслов и хозяйств, отправил зазнавшихся новичков обратно во Владивосток». «Карымов наливает коньяк из фляги в серебряный червленый стаканчик». «По соседству, в рыбтресте, Карымов — от Посьета, до Уэлена старший брат всем охотникам и рыбакам».

Собрав все сказанное о Карымове, можно узнать о его перемещениях по работе, но нельзя обнаружить ни одного поступка, ни одной мысли, позволяющих судить о характере этого человека.

Вот пример — Ломчин. О нем упоминается в романе трижды:

«Приехал начальник, привез какого-то Ломчина — первого заместителя»;

Леонид УЛИН. — Утренняя черта. Роман. «Молодая гвардия». 1939. №№ 6 и 7.

затем приводится выступление Ломчина против Матвея и еще через несколько страниц краткое сообщение:

«Громов едет в Москву. Ломчин тоже нас покидает».

Вот и все. Какой же смысл в появлении и исчезновении этой фамилии?

Так раздражающе мелькает в романе еще два-три десятка людей, о которых, по сути дела, ничего неизвестно читателю. Громов, Грудый, Грибин, Ланков, Прялов, Гурьев — все это лишь фамилии, но не образы.

Но вот — Сергей Гарусов, друг Матвея, ближайший помощник его на стройке, руководитель отдела кадров. Автор часто возвращается к этому персонажу, излагает самые его затаенные желания и помыслы, о которых герой не смеет даже говорить вслух. Однако, несмотря на это, Гарусов продолжает оставаться фигурой весьма неясной. Внутренняя жизнь Гарусова сводится к двум эмоциям — это недоброжелательство и зависть к своему другу Матвею и любовь к его жене Анне. Эти два чувства никак не связаны с той общей характеристикой, которую автор дает Гарусову в начале романа:

«...приискательский молодец, маленький, чернявый, литой; только партизанить Гарусову по молодости не пришлось: жил воскормиком на приисках, в низовье Амура; ушел в город, кое-чему подучился, директорствовал на кирпичном заводе и вслед за Матвеем попал в Академию. Гарусов тоже слыхал от бывалых старателей о несметных сокровищах где-то севернее Охотска, но итти туда, в тысячеверстную глушь, мало кто рисковал. У Матвея с ним завязалась крепкая дружба на работу, на жизнь. Они решили плечо к плечу итти покорять тайгу, холодную неприступность северных гор, пространства, затаившие от человека сказочное добро».

Ограничившись этими строчками, Улин в первой части романа больше не интересуется Гарусовым. Вторая же часть начинается непосредственно завистливыми размышлениями Гарусова. Но как же возникло это нехорошее чувство в душе Сергея. И что это за человек, вообще, Сергей Гарусов? Чем примечателен он? Что отличает его от всех остальных героев? Зависть? Но зависть эта проходит так же немотивированно, как и возникла. Тогда исчезает и эта единственная черта, характеризующая Гарусова.

Даже главный герой романа Матвей Клюквин, несмотря на внимание, уделяемое ему автором, — образ незавершенный и расплывчатый. Он очень много действует, много думает, много говорит, но все эти поступки, мысли и слова не сочетаются, не складываются в целостный характер. Ясно только, что Матвей хороший, преданный делу работник и что он очень легко и часто увлекается женщинами. Но при этом трудно понять, в чем же различие между Матвеем и Карымовым, Грудым, Пряловым, Громовым и другими, которые ведь тоже, очевидно, хорошие и энергичные работники. Что же касается влюбчивости Клюквина, об этом ниже.

Естественно, и отношения между персонажами носят случайный характер. Роман развивается вяло, без всякого напряжения. Он состоит из эпизодов, соединенных, или вернее разделенных, стра-

ницами конспективного характера, торопливо и скомканно рассказывающими о переменах в жизни людей, судьбами которых мы не заинтересованы. Некоторые эпизоды, например поход тракторов, написаны сжато и энергично. Но они лишены драматической связи с общим ходом повествования и не являются звеньями единого, постепенно развертывающегося авторского замысла. Вот почему остаются не раскрытыми новые отношения, устанавливающиеся между людьми, социалистически переустраивающими далекую окраину Советского Союза. И повествование, несмотря на цветистость и выспренность стиля, носит, по сути дела, характер информационный.

Этой цветистостью Улин как бы стремится возместить раздробленность сюжета и неопределенность характеров. Разумеется, эти стилистические ухищрения не могут заменить подлинной художественности. Напротив, их манерность и претенциозность ярче оттеняют бедность содержания.

«Из-за гор наплывают сумерки. В отстоявшейся студености, словно стеклянные, звенят под ногою мхи. Анна идет к морю. Лопочет между камней вода; появляясь одна за другой, колышутся звезды. Иногда где-то в стороне взовьется лихой свист и долго-долго вздрагивает, как вымпел.
Вода становится громче».

Последняя фраза уже не только претенциозна, но и неграмотна. Точно так же нельзя писать:

«Третий, — невидимый — позванивая карандашом в бумагу, записывает игру».

Или:

«Ответом ей были две узких, горячих руки».

Или:

«Иногда люди из упрямства взвинчивают себя на каком-нибудь чувстве, чтобы казаться полноценнее, и все рушится от простой перемены климата или среды».

Однако же авторская энергия обращена не только на создание этих претенциозных и безвкусных фраз. Очень много внимания Улин уделяет любовным переживаниям своих персонажей. И характер этих персонажей придает совершенно особый и весьма неприятный оттенок всему повествованию.

Мы уже говорили о влюбчивости Матвея Клюквина.

Вот катается он по морю с Вероникой. Девушка любит его. Она настойчиво добивается взаимности от Матвея. И между ними происходит следующий примечательный разговор:

«— Ты говорил тогда о любви, — сказала она.
— Все говорят о любви, а ведь маляры не называют картиной обыкновенную вывеску.
— А ты?
— Не знаю.
— Знаешь!
Сомнения не оставалось: она говорила сквозь слезы. «Кто-то возьмет ее на руки. Она положит к нему на грудь свою голову и, что была, что не была эта ночь...» — подумал Матвей.

— Если бы можно было быть сразу с двумя, — глухо сказал он.
Вероника наклонилась к черной воде
Матвей зажег спичку. Ее лицо на мгновенье мелькнуло на изгибе легкой волны. «Хорошо бы ей утонуть», закуривая, внезапно подумал Матвей».

Здесь не знаешь, чему дивиться раньше — «изысканности» ли слога Улина, «изысканности» ли мыслей Матвея, желающего смерти любимой им девушки и мечтающего «быть сразу с двумя».

Впрочем, две — это еще не предел. Правильнее было бы сказать, что Матвей не может спокойно пройти мимо женщины. Его чувствительное сердце тотчас начинает испытывать трепет. И право же, Вероника не далека от истины, когда, дразня Матвея, она шепчет:

«Бедняга... Если бы можно было... быть сразу с двумя... с четырьмя... с целой дюжиной».

И точно. Вернувшись на Дальний Восток, Матвей забывает о Веронике и женится на Анне. Они нежно любят друг друга. Но стоит только ему во время поездки встретиться с инженером Марией Крупениной, и вот уже —

«Он слушал ее, улыбаясь чему-то; тихонько гладил, согревая в своих руках, ее похолодевшие руки.
А утром, когда Матвей с проводником готовил нарты к отъезду, Машенька поставила его и свою чашки бок о бок на стол, по ворожбе или невинной затее кружила их, меняя местами. Улыбалась лукаво, как в детстве. Ждала Матвея.
Она дала ему белую, — свою, в оранжевом поясе, оставив себе голубую, в зеленых крапинках.
Пристально посмотрела ему в глаза:
— Хорошо?
Матвей нежно прижал к себе голову Машеньки:
— Спасибо».

А когда Клюквин узнает о замужестве Вероники, «что-то» ударяет в его сердце. Так любвеобильно, так «широко» это сердце.

Но любвеобилен не только Матвей. Его друг Сергей Гарусов влюблен в его жену Анну. Однако же, как только он встречает Крупенину, новая любовь зарождается в его сердце. Когда Крупенина уезжает, Гарусову кажется, —

«словно была у него возможность большой удачи, — раз на всю жизнь, — да не сумел он ею воспользоваться».

Но читатель спокоен — он уже знает повадки персонажей «Утренней черты», знает, что они скоро находят утешение.

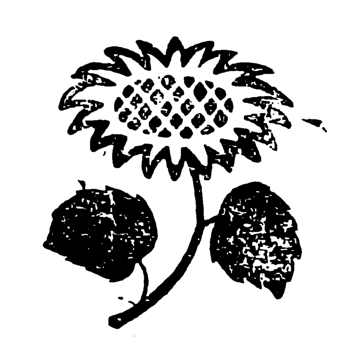
Будем справедливы — герои и героини Улина ведут себя вполне пристойно. И все же, несмотря на это, их «любовь» глубоко антипатична. Впрочем, даже нельзя так назвать эту нескончаемую «сердечную» возню, которой заняты герои романа, имеющую весьма отдаленное отношение к прекрасному и глубокому чувству, именуемому любовью. Слишком мелки и незначительны эти страстишки, эти быстро вспыхивающие и быстро гаснущие увлечения, чтобы принимать всерьез, чтобы чувствовать хоть какое-нибудь уважение и симпатию к столь «пылким» людям.

Самое же печальное — это то, что автор относится к чувствам своих героев весьма внимательно и даже несколько восторженно. Он решительно принимает их всерьез и описывает их (как видно из приведенных цитат) весьма патетически.

За последние полтора года появилось несколько повестей и романов о любви. Однако, к несчастью, в большей части этих произведений за любовь выдается мелочная, пустяковая суета. И что хуже всего, авторы сами обмануты своими героями и настолько нетребовательны к ним, что любую ничтожную бытовую неурядицу представляют серьезной и «проблемной» драмой. Эта нетребовательность, это отсутствие высоких моральных критериев, эта неспособность строго и здраво судить о достоинствах и недостатках людей — самым пагубным образом отражаются на качестве подобных произведений. Бедность содержания сочетается здесь с тусклостью изображения.

Как мы видим, Улин также относится к своим героям без достаточной требовательности и пытается представить в поэтическом свете эту свойственную им легкость в чувствах необыкновенную. Охотно зарисовывает он треугольники и квадраты и многоугольники, создаваемые «движеньем сердец» действующих лиц. Вспомним, что при этом персонажи «Утренней черты» не являются образами рельефными и определенными и что, таким образом, «романтические наклонности» оказываются чертой, наиболее яркой в их характеристике.

Остается лишь сожалеть, что автор не раскрыл подлинной поэзии, поэзии той великой созидательной борьбы, которую ведут большевики в самых отдаленных частях нашей страны, борьбы упорной и победоносной. Отдельные удачные места теряются, преобладают торопливые, информационные страницы и мнимо поэтические описания. Литературная «красивость», к несчастью, вытеснила из романа истинную жизненную красоту; движение мелких страстишек — борьбу настоящих страстей.



Стихи и поэмы Леонида Мартынова

Ив. Андреев

Входившие в состав Российской империи земли к востоку от Урала еще недавно имели общее наименование. Ряд составлявших это наименование букв тянулся на дореволюционных картах от юго-восточных берегов Каспийского моря до Берингова пролива. Буквы складывались в слова: «Азиатская Россия». Страна была неслыханно огромна. Одну букву от другой отделяли сотни километров.

История этих земель была записана как летопись завоеваний российской короны. Солдаты приходили и уходили, на их смену являлись новые. Строились крепости, православные храмы, остроги. Вне походов было: солончаки, пересыхающие реки, непонятные туземцы.

Историю края писали военные писари.

Их не интересовало то обстоятельство, что на огромных пространствах завоеванной земли жило множество людей, которые воевали с суровой природой, надеялись, любили, вынашивали свои идеалы, расчищали земли под пашни, строили города, рудники, дороги, бродили по утренней росе, растили детей, слушали пение птиц.

Люди эти оставались за бортом истории. Этих людей увидел Мартынов, о них рассказал он в поэмах «Искатель рая» и «Поэма о русском инженере».

Восток был дик и бесконечно пылен... По гулким руслам
пересохших рек
Шел путник...

так начинается «Искатель рая».

Изложить сюжет этой поэмы об искателе утерянного пути в Эдем, — Эдем, созданный чудесным гением слепца Мильтона, — невозможно, не обеднив произведения, богатого точным знанием

Леонид МАРТЫНОВ. — Стихи и поэмы. Омск. Омское областное издательство. 1939. Стр. 127. Тираж 3 000. Ц. 3 руб. 85 коп.

времени, вполне своеобразной манерой изложения и заинтересованностью автора в судьбе своих героев.

Не только Мартын Лощилин, основной герой поэмы, но и каждый, казалось бы, случайный персонаж, с которым сталкивается Лощилин, имеет свою, исторически глубоко обоснованную и поэтически убедительно развернутую судьбу.

Здесь и шпик Рыжеусов, по доносу которого Лощилина бросают в тюрьму и который впоследствии обращается к нему за помощью, так как бывшие друзья Рыжеусова отвернулись от него. И охранитель существующего порядка — судья, присуждающий Лощилина к тюремному заключению за чтение мильтонова «Потерянного и возвращенного рая» и отказывающийся впоследствии принять иск Лощилина к концессионной фирме, обманным путем захватившей руду, открытую им. И мелкий писарек Бесогонцев, предостерегающий Лощилина от затеи продавать книги в городе, где ими никто не интересуется, и беззастенчиво обманывающий его впоследствии в деле с заявкой на руду. И бывший хозяин Лощилина, владимирский торгаш и ханжа, бросающий свою книжную торговлю и приезжающий на Восток за длинным рублем. И одноногий солдат, пострадавший от английской пули на афганской границе и потому в злобе поднимающий костыль на мильтоново творенье, а затем признающий защитника Мильтона, Лощилина, «мудрым, как Мартын Задека».

Разумеется, Мартын Лощилин не находит пути в Эдем. Скрываясь от полиции, он обретает приют, в котором «скорей попахивало адом», — в обжигательной яме одного из кирпичных заводов. Но сам Лощилин воспринимает торжество своих врагов и собственное поражение как временную катастрофу и не отказывается ни от одной из своих идей.

Никто бы здесь не опознал Мартына. В отрепьях, с обгорелой бородой,
Он глину мял, и трепетала глина в его руке костистой и худой.
— О, глина! Вся полна тобою яма. Ты в руки мне попала, наконец,
Ты, из которой праотца Адама слепил однажды благостный творец,
Теперь пойдешь ты на постройку храма, где бесов тешат лжец,
мздоимец, тать!
Так он шептал и глину мял упрямо. И об Эдеме продолжал мечтать.

Автор сумел избежать экзотики, отказаться от изображения исторических событий, не играющих решающей роли в судьбе героев, не ввел ни одного исторического лица в сюжетную ткань произведения, чтобы придать большую достоверность изложению. Иными словами, отказался от тех приемов, к которым прибегают авторы незатейливых исторических повестей и поэм.

И здесь следует подчеркнуть, что поэма Мартынова от этого только выиграла, не утеряв ничего в своей исторической правде, ибо историческая правда заключается не только в фактах взятия или оставления войсками того или иного города, но и в строе мыслей человека каждой эпохи, в любом его поступке, чувстве, жесте.

И об этой правде тем более следует думать поэтам, чем менее о ней думают историки.

В поисках этой исторической правды Мартынов избегает хоженых дорог. В своей работе он опирается на собственное острое чутье следопыта времени, позволяющее ему угадывать отдельные черты замечательных героев прошлого, — героев, имена которых нельзя найти ни в одном справочнике, ни в одной газетной передовице.

Разумеется, это своеобразие творческой манеры Мартынова доступно лишь человеку, в совершенстве владеющему историческим материалом. Именно благодаря глубокому знанию фактов истории, небольшая баллада Мартынова «Пленный швед» дает, может быть, более точное ощущение эпохи Петра, чем иные объемистые сочинения в стихах и прозе, хотя в стихотворении нет ни одного упоминания ни о Полтавской битве, ни об европеизации вооруженных сил страны, ни об учреждении Академии наук.

Пишет ли Мартынов о встрече варягов со славянами в IX веке нашей эры, рассказывает ли об искателе рая — Мартыне Лощилине или русском инженере — строителе деревянного храма на востоке Российской империи, его стихи и поэмы воспринимаются как наброски к главам ненаписанной истории народов земного шара — истории, исполненной поэзии труда и человеческого разума.

Из общеизвестных деятелей прошлого прямым героем одного из стихотворений Мартынова является лишь Ермак, завоеватель Сибири. Но что он делает у Мартынова?

Земля, на меч налипшая, жирна:
В ней кровь, в ней пепел от лесных пожаров.
— Кольцо! Достань-ка горсточку зерна, —
Немолотое есть у кашеваров.
...Глядят на атамана казаки
И пленники — праправнуки Батыя.
Летят из атамановой руки
В сырую землю искры золотые.

О Ермаке-сеятеле вы не прочтете в учебниках. Не потому ли и написал о нем Мартынов, что он уверен, и совершенно справедливо, что поэты тогда только достойны своего призвания, когда они пишут о том, о чем никто другой за них написать не в состоянии! Даже если они избирают предметом своих работ темы исторические.

Отмечая те особенности творчества Мартынова, которые могут служить примером самостоятельной работы советского поэта на конкретном историческом материале, мы вынуждены упомянуть и о тех отходах поэтической работы автора, которые неизбежны у всех поэтов, но которые по редакторскому неразумию обнародованы в выпущенной Омским областным издательством книге стихов Мартынова.

Мы имеем в виду значительную часть лирических стихотворений поэта, на которые неизбежно наткнется читатель и которые не вызовут в нем ничего, кроме раздражения. К таким беспомощным произведениям относятся: «Март», «Грусть», «Вы смеетесь, как будто купаетесь» и некоторые другие.

В стихах этих Мартынову изменяет элементарное художественное чутье. Они плоски, неинтересны. Думается, что лирического поэта Мартынов еще не сумел обнаружить в себе. И с этим фактом придется примириться и ему и читателю.

Немалая работа предстоит Мартынову и в области совершенствования избранной им стихотворной формы.

О форме стихов Мартынова писалось, что она неразрывно связана со всем существом его поэзии, и ее нужно либо принимать целиком, либо целиком отвергать. Нам это решительное утверждение кажется несколько преувеличенным.

Бесспорно, Мартынов обладает достаточно своеобразной формой поэтического выражения и сплошь и рядом достигает здесь значительных результатов. Великолепно построена почти вся прямая речь героев его поэмы. Удачно найден Мартыновым прием выведения резюмирующей заключительной строки стихотворения из общего строфического построения вещи (см. стихотворения: «Та высота была не безымянной» и «Проводы зимы»). Любопытна непривычно длинная строка поэмы, иногда включающая не одну, а несколько внутренних рифм, разбивающих прямую речь на необходимые составные части. Можно было бы указать и другие находки. Однако и в пределах этого своеобразия многое можно было бы сделать лучше, выразительней, совершеннее.

Мы цитировали выше начальную фразу поэмы «Искатель рая». Напомним ее:

Восток был дик и бесконечно пылен... По гулким руслам
пересохших рек
Шел путник.

Эта описательная фраза лаконична. В одной строке сказано все необходимое и о бездорожье, и о засушливости края. Эпитетом «гулким» точность географическая и историческая поднята до высоты точности художественной.

Но попробуем прочесть окончание второй строки:

...Это был Мартын Лощилин, высокий, худощавый человек.

«Высокий» и «худощавый» — очень плохо, так как не характеризует образ Лощилина. Ни худоба, ни рост героя не играют роли в поэме. Лощилин мог быть невысоким и обладать плотным строением. Поставленные рядом необязательные эпитеты делают фразу пустой. А таких фраз и строк в стихах и поэмах Мартынова можно найти изрядное количество.

Нам кажется, что претензии, которые могут быть предъявлены читателями к Мартынову, этим исчерпываются. Они не могут скомпрометировать ни одного из достижений поэта. Они свидетельствуют, что у Мартынова есть все возможности для дальнейшего роста. Вряд ли необходимо напоминать ему о том, что чем большими данными располагает человек, тем с большей бережностью он обязан относиться к своему творчеству.



„Кавказские рассказы“

Е. Дмитриева

П. Максимов поставил себе интересную цель — дать русскому читателю живое представление о дореволюционной и современной культуре двух родственных народов, кабардинского и адыгейского, справедливо считая хорошим средством для этого беллетристическую зарисовку жизненных положений, характерных бытовых сцен. П. Максимов ради этой цели оставляет себя как писателя несколько в тени и выступает не только как автор оригинальных произведений, но и как собиратель, обработчик и популяризатор чужих рассказов, которые принадлежат людям, не обладающим литературным умением. Четыре рассказа — «Смерть девушки Рабигат», «Чевяк и сафьян», «Шайтан-арба» и «Яблоко» — представляют собой литературную переработку корреспонденций, присланных в ростовскую областную детскую газету «Ленинские внучата» деткорами-адыгейцами Кирмиз Жане и Меджидом Темрук; дети записали интересные факты со слов стариков-колхозников. Адыгейская быль «Мудар-икананц» была известна П. Максимову в устной передаче Т. Керашева и записана им по памяти. В рассказе «Поединок» первая половина — о дореволюционном времени — основана на подлинных фактах, сообщенных автору Т. Керашевым; вторая половина — советское время — написана, как объясняет П. Максимов в послесловии, по личным наблюдениям автора. Рассказ «Аминет» написан Юсуфом Тлюстен, «Джинэ» — Аскаром Евтых, молодыми адыгейскими писателями; П. Максимову принадлежит литературная переработка подстрочного перевода. «Партизан Герандуко» и «Алмастэ» — оригинальные произведения П. Максимова, хорошо знающего быт кабардинского народа.

Такой состав сборника внушает, прежде всего, уважение к литературной скромности автора, не заботящегося о том, чтобы привлечь внимание читателя к своему таланту. Скромность эта вознаграждена вполне: П. Максимов дал книгу, интересную не только своим фактическим содержанием; несмотря на неизбежную литературную неровность, книга занимательна как беллетристическое чтение.

П. Максимов пишет хорошим языком. Особенно хороши у него описания. Приведем отрывок из рассказа «Партизан Герандуко»:

«Обогнув невысокую Татар-гору (названную так, как говорят, в память о стародавнем набеге татар-крымцев на Кабарду и сражении с ними, происшед-

---

Павел МАКСИМОВ. — Кавказские рассказы. Ростов-на-Дону. Ростовское областное книгоиздательство. 1939. Стр. 211. Тираж 10 000. Ц. 2 руб. 75 коп.

шем близ этой горы), мы увидели раскинувшийся у ее подножия большой кабардинский аул. Это и был Эркин-аул, бывший Эристемей или Эристемово, как назывался он по имени живших здесь крупнейших кабардинских князей. Нынешнее его название «Эркин-аул» значит: «свободный аул». Эркин-аульский колхоз «Свободный кабардинец» считается одним из лучших в Кабарде».

Это написано в форме традиционной, быть может, несколько «старомодной». Но такие полновесные, точные и, при всей своей обстоятельности, удобопонятные периоды вполне уместны в описательной прозе. В них несравненно больше языковой культуры, чем в столь распространенном в очерковой журнальной литературе отрывистом, искусственно сжатом и потому претенциозном стиле. П. Максимов иногда делает уступки этому стилю и прибегает к сравнениям, в которых больше эксцентричности, чем хорошего вкуса («мост был подобен матрацу на пружинах»), но они только изредка нарушают спокойный, естественный тон повествования.

Диалоги у П. Максимова по языку беднее описаний; но и в них встречаются удачно переданные в правильной русской фразе своеобразные интонации иноязычной адыгейской речи. Для такой книги, как рецензируемый сборник, это очень важно.

В рассказе «Партизан Герандуко» обрисован быт кабардинского аула между 1914 и 1931 годами. Автору удалось создать живые образы батрака Батико Гурфова и его сына Герандуко. Благодаря этому события этого бурного времени предстают перед читателем в своей внутренней связи как судьба народа, пережившего социальный гнет и военное истребление, сумевшего победить враждебные силы и самому стать хозяином своей жизни. Этот рассказ, повидимому, написанный П. Максимовым наиболее свободно, показывает художественные способности автора. Менее удачна сочиненная П. Максимовым вторая половина рассказа «Поединок». Первая часть этого рассказа, в основу которого положен действительный факт, представляет собой анекдот о том, как богатый купец-адыгеец, отрекшийся от своего народа, неожиданно встретил отпор со стороны бедного, но гордого и независимого единоплеменника; в этом анекдоте чувствуется и своеобразный национальный характер и свежий народный юмор. Вторая половина рассказа написана бегло, образ бывшего батрака — теперь коммуниста, окончившего Институт красной профессуры — не индивидуален; поэтому эта часть рассказа, ничем не отличающаяся от обычного газетного очерка, резко отделяется от первой и заканчивает рассказ только формально. Развития образа не получилось.

Все эпизоды из жизни адыгейцев, случаи столкновения старых предрассудков и суеверий с новым жизненным укладом, отдельные черточки, характерные для кабардинских и адыгейских крестьян и новых интеллигентов, — весь этот материал, собранный П. Максимовым в его небольшой книжке, показывает, сколько ценнейших мотивов найдет для себя художник, изучая жизнь народов СССР. Работа П. Максимова еще не представляет собой подлинной художественной переработки материала, ее роль в этом смысле предварительная, подготовительная, но в таком качестве, на наш взгляд, ее интерес бесспорен.

Дешевая мораль

Ф. Яковлев

Одной из областей нашей литературы, куда редко заглядывают серьезные писатели и критики, до сих пор, к сожалению, остается литература для детей, в частности для детей пионерского возраста. Отсюда проистекает то весьма печальное явление, когда на этом поприще подвизаются авторы, преподносящие юным читателям вместо подлинной литературы дешевые суррогаты морали.

Ярким примером таких произведений являются творения О. Зив, предназначенные для воспитания пионеров. Такова книжка «Твои друзья», включенная в «Библиотечку пионервожатого» и снабженная четкой директивой: «читай и обсуждай на сборах». Книжка посвящена исключительно важной теме — интернациональному воспитанию. В первом рассказе, помещенном в книжке и носящем название «Копилка», описывается формирование революционного сознания у девочки из буржуазной семьи, по имени Жанетта Боннар Автор не скупится на традиционную, затасканную бутафорию, которая должна создать отталкивающую картину мещанского быта. Здесь и фарфоровые слоники, и подушечки, и шелковые пуфы, и безделушки. Все это увенчивает копилка в виде фарфорового поросенка. Вопреки естественным законам этот фарфоровый поросенок, повидимому, растет. На странице 16-й он именуется «поросенком», а на странице 52-й—«фарфоровой жирной свиньей». Под влиянием своих мелкобуржуазных родителей и классического дядюшки из колоний (который усмиряет восстание туземцев) Жанетта копит деньги на приданое. Характер Жанетты являет собой собрание самых отталкивающих черт. Она ленива, труслива, пуста и тщеславна, она подлизывается к учителям и богатой подруге. Эта хорошенькая и легкомысленная девочка наделена многообещающими задатками будущей содержанки. Чтобы оттенить пороки Жанетты, на сцену выведен и резонер—«сознательный» мальчик Морис, этакий пай-мальчик из «Золотой библиотеки» дореволюционного периода. С поразительной осведомленностью он разъясняет и разоблачает на ходу пороки буржуазного общества.

Живописно изображенное ничтожество Жанетты должно резче показать глубину ее перерождения и возникших затем добродетелей. Перерождение происходит внезапно, мгновенно и без труда, как это всегда бывает в подобного сорта литературе. Одна случайная встреча с миловидной парижской цветочницей («была весна в Париже...»), которая делает своими израненными пальчиками «причудливые, как сновидение, как вымысел» цветы,—и

Ольга ЗИВ. — Твои друзья. М. «Молодая гвардия». 1939. Библиотечка пионервожатого. Стр. 71. Тираж 25 000. Ц. 50 коп.

судьба Жанетты решена. Нам знакома эта приторная цветочница. Сколько пошлых страниц было посвящено ей в дореволюционной литературе! Автор вложил в уста этой трогательной цветочницы несколько стандартных фраз о фабричном труде подростков, об эксплоатации и солидарности трудящихся, соединил ее в свободной любви с комсомольцем-забастовщиком, и мощный рычаг перевоспитания несознательной Жанетты был готов. Про «друга»-комсомольца известно, что он имеет «ряд ослепительно белых зубов», да еще джемпер, обтягивающий его могучую грудь спортсмена. Соединенное действие внешности белозубого мужественного юноши и цветочной добродетели его подруги мгновенно рушит все пороки скверной буржуазки.

Теперь Жанетта не только безропотно ест хлеб без варенья, не только собирает пожертвования в пользу детей испанских республиканцев, но и собственные сбережения из копилки отдает на пользу этих бедных детей. Попутно она рвет со всем «старым миром» капиталистического свинства. Жанетта разбивает свою копилку и роняет сентенцию, достойную стать исторической:

«Глина!.. И тут обман... не фарфор, а глина...»

Очевидно чувствуя, что победившему пролетариату нужны будут политехнически образованные специалисты, Жанетта даже

«начала гораздо лучше заниматься математикой и другими точными науками».

Итак, моральное задание с честью выполнено. Жанетта перековалась по старому испытанному способу, с успехом применявшемуся авторами книг «Золотой библиотеки». Филантропические авторы этой библиотеки со слезой в голосе убеждали детей из богатых семейств быть послушными, безропотно кушать хлеб с вареньем и «помогать бедным».

Не менее просто расправляется. О. Зив и с темой героизма пролетарских детей. Отдавая дань всеобщему интересу к испанским событиям, Зив в рассказе «Внуки старого Педро» избрала местом действия Испанию. Там имеются все аксессуары традиционного испанского колорита. Но все это чистейшая бутафория. Самоотверженная борьба испанских республиканцев дала такое обилие подлинных примеров героизма, что непонятно, зачем автору понадобилось измышлять насквозь фальшивую историю о том, как 11-летний мальчик, подсматривая за работой матери на радиопередатчике, с непостижимой понятливостью постигнул технику радиопередач и в нужный момент заменил убитую мать на ее посту.

До издания в отдельном сборнике этот рассказ под фамилией М. Галиной был помещен в № 3 журнала «Вожатый», а в № 4 тот же автор без малейшего труда переключается на китайскую тематику и дарит юного читателя новым шедевром — «Маленькая Ли-Жень»... Нечего и говорить, что о китайских делах автор так же мало осведомлен, как и об испанских. Бутафория испанской обстановки: старый монастырь, апельсиновая роща и звучные имена Кончито, Карменсита, Педро, Гонзалес и т. д. без всякого

труда сменяется на китайскую бутафорию: рисовое поле и не менее экзотические имена Дзао-ли-Жень, Дзао-Тун-венго и т. д. Насквозь фальшивая история о том, как маленькая «звонкоголосая» Ли-Жень остается «каким-то чудом» невредимой под залпом японских солдат, дополняет историю юного Педро.

С особенным удовольствием О. Зив занимается вопросами морали в советской школе. Школьная дружба, детские представления о верности и чести имеют свои законы. Нужен большой такт и верное педагогическое чутье, чтобы показать, что подлинная правдивость и честность не вредят товариществу и дружбе, а подымают их на еще большую высоту. В пьеске О. Зив «Испытание» [1] игривые девочки и мальчики, предусмотрительно разбитые автором на «пары», попадают в классическое положение, именуемое борьбой долга и чувства. Все они дали честное пионерское слово не пользоваться шпаргалками при классных работах. Но менее устойчивые — «хорошенькая, кокетливая и капризная» (по авторской ремарке) Светлана и «порывистый и добрый» Саша — нарушают слово. Они списывают у своих партнеров письменную работу. Игорь, по меткой авторской характеристике, «отличник, поэт, склонный к задумчивости», питающий к Светлане, повидимому, более чем дружеские чувства, движимый голосом долга, разоблачает преступление. Коллизия достигает высшего напряжения и разрешается внезапным всеобщим раскаянием и обещанием более успевающих учеников подтягивать менее успевающих. В финале, совсем как в заправском водевиле, Игорь бросается к «кокетливой и капризной» Светлане, пораженной его моральной чистотой, остальные пары также довольны друг другом.

Сюжет пьески «Трус» [2] того же автора еще более фальшив и надуман. «Худенький мальчик Виктор», вопреки здравому смыслу и трезвому рассудку, подобно христианскому подвижнику из жития святых, тщательно скрывает от товарищей пионеров, что он спас ребенка во время пожара и получил при этом ожоги, которые мешают ему принимать участие в забавах детей. В припадке этой патологической скромности злосчастный герой молчаливо переносит насмешки и оскорбления товарищей, считающих его трусом. Но добродетель должна восторжествовать. Героизм Виктора обнаруживается при посредстве сержанта милиции, который разыскивает мальчика и с торжеством везет его в город, чтобы там представить к ордену.

Кто же в конце концов отвечает за систематическое печатание этой пошлятины, засоряющей и отравляющей мозги советских детей? Ведь журнал «Вожатый» выходит за подписью ответственного редактора Е. П. Волковой, которой партия доверила большое политическое дело. Удивляет также беззаботность издательства «Молодая гвардия», не умеющего привлечь к разработке проблем коммунистического воспитания подлинно творческих работников.

---

[1] «Вожатый», 1939, № 7—8.
[2] «Вожатый», 1939, № 5, стр. 62.

„Пионер“ в 1939 году

А. Ивич

I

Достаточно просмотреть оглавление «Пионера» за прошедший год, чтобы заметить одну особенность — очень неравную нагрузку номеров. Есть номера, в которых нет ни одного оригинального рассказа — напрнмер № 5, где вся беллетристическая часть исчерпывается двумя переводами и окончанием исторической повести. Дюжина рассказов и четыре повести советских авторов за год — это совсем немного для единственного в Москве литературного ежемесячника для ребят старшего возраста.

Есть в оглавлении и другие приметные особенности. В беллетристической части имен писателей, не работающих специально в детской литературе, нет ни одного. Да и вообще новых имен мало. Ощущается некоторая узость круга авторов. Редакция не может похвастаться, что в прошедшем году она привлекла новые, свежие силы в детскую литературу или побудила «взрослых» писателей писать для детей.

Впрочем, есть исключения. Имя Радзиевской мне попадается впервые. А именно ей принадлежит один из лучших рассказов «Пионера». В «Мишке» Радзиевской нет, правда, ни глубоких проблем, ни тонких психологических разработок. Но историйка о том, как мальчик прокатился верхом на медведе, рассказана весело, непринужденно, хорошим языком, с новеллистическим мастерством, которого часто нехватает опытным писателям.

II

О новеллистическом мастерстве и хотелось бы поговорить прежде всего.

Читаешь рассказы разных авторов на разные темы — Замчалова, Шатилова, Письменного, Парийской — и ощущаешь одинаковую неудовлетворенность. Все время кажется, что это не законченные художественные произведения, а скелеты новелл.

«Пионер». Журнал для детей старшего возраста. Детиздат. 1939. №№ 1—10.

Все как будто на месте — диалоги, пейзажи, сюжетные происшествия, а рассказы неживые, неподвижные, как спящая принцесса, окруженная спящим двором.

Если ближе присмотреться, причина оказывается общая: в рассказах есть сюжеты, но нет характеров. Мальчики и девочки в этих рассказах — это мальчики и девочки вообще. Каждый из них наделен только теми свойствами характера, которые автору нужны для развития сюжета или морализирующего вывода, например, только храбростью или трусостью. Но этих свойств недостаточно для создания полноценного образа. Они остаются изолированными приметами, психологическими эпитетами к имени мальчика или девочки.

Вот рассказ Замчалова «Спартакиада в Тушинке». Мальчик боялся плавать. Товарищи над ним смеялись. Один раз ему удалось удержаться на воде. После этого он стал тайно ходить упражняться в плаванье на лесном озере. Мальчишки подглядели, заметили, что он все еще трусит. По совету деда забросили его рубашку подальше, и пришлось Ефимке за ней поплыть. Страха, после этого, как не бывало. Только плавал он некрасиво. А на спартакиаде порезал ногу лучший пловец колхоза. Вместо него поплыл Ефимка и, как легко догадается читатель, занял первое место.

Этот довольно примитивный сюжет рассказан подробно и местами занимательно. Но беда в том, что, кроме робости, у Ефимки других качеств нет. Кроме преодоления этой робости, у него и других занятий в рассказе нет. А то, что он на спартакиаде, когда дед ему что-то на ухо пошептал, внезапно поплыл прекрасным стилем, представляется совершенно непонятным. Как известно, стиль в плавании достигается не мгновенным познанием секрета, а долгим упражнением. Эта натяжка в соединении с заменой характера лишь одним свойством характера и превращает рассказ в скелет рассказа.

Вот рассказ Л. Парийской «Васька». Мальчик приехал на лето в деревню. Завел там двух товарищей — один

храбрый, ловкий, другой — трус. В конце рассказа трус Васька с опасностью для жизни храбро спасает попавшую в болото колхозную лошадь.

А читатель равнодушен к этому подвигу, потому что Васька до конца рассказа остался для него чужим. Он существует в рассказе только для того, чтобы оказаться храбрым, и характерен только тем, что выучил наизусть расписание поездов по всей стране, — настолько он любит мечтать о путешествиях. Совершенно неясно, почему его так не любят мальчики деревни, что даже с другом его знаться не хотят.

Вот рассказ Шатилова «Победитель». Он, казалось бы, не банален по теме. Рассказчик — мальчик, он пишет стихи. В литературном кружке их школы еще два поэта: Сережка — скромный, редко читающий стихи, — и староста кружка — Бобочка. Бобочка, по мнению рассказчика, — обезьяна, ловко перенявшая манеру Маяковского, и в стихах ценит только звучность.

Мальчики говорят о стихах, спорят. И эта часть рассказа интересна. Дело в том, что в большинстве рассказов о школьной жизни герои их заняты пустяками, ребячливы не по летам. У Шатилова же показаны серьезные интересы старших школьников и довольно высокий уровень их культурности. Но после разговоров начинаются события. Сережа послал стихи в журнал и получил приглашение притти в литературную консультацию к известному поэту. Тот нашел, что Сережа талантлив, и хвалит его стихи. Позже стихотворение его появилось в журнале. А потом поэт напечатал в газете статью, где говорил о стихах Сережи и рассказчика, особенно выделяя сережины, и советовал литературным кружкам других школ позаимствовать опыт кружка, которым руководит Сережа. Правда, это было ошибкой — кружком руководил не Сережа, а Бобочка, но с этого дня Сережу нарасхват стали приглашать на выступления. Он стал требовать, чтобы за ним присылали машину, перестал ходить в школу, возомнил себя великим поэтом, связался с каким-то халтурщиком. Рассказчик с ним поссорился.

И тогда появилась вторая статья того же поэта. Он рассказывал, как скромный мальчик возомнил себя профессиональным поэтом и непризнанным гением, ходит по редакциям, берет гонорары за выступления.

Это было моральным крахом Сережи. Выручает его другой писатель, который в серьезном задушевном разговоре советует ему вернуться в школу и обязательно в ту же самую, несмотря на ожидающие его насмешки товарищей. И вот он возвращается, и все почувствовали силу этого поступка, никто над ним не смеется. Он — победитель.

Но автор — отнюдь не победитель. Не говоря уже о сусальном благополучии конца, о сплошной без исключений сознательности и чуткости всего класса, не говоря о сусальном благонравии рассказчика, друга Сережи — в рассказе есть более существенный недостаток. Сережино падение и возвращение на путь истинный мотивировано только сюжетными ситуациями — приглашениями на выступления и разговором с писателем. Психологических мотивировок — нет. Сережины переживания, постепенность его падения, борьба, которую он должен был выдержать с собой, чтобы последовать совету вернуться в школу, — все это скрыто от читателя.

И это делает из неплохо придуманного рассказа — безглазый скелет.

Вот тут и возникает разговор о новеллистическом мастерстве. Авторы всех рассказов, о которых шла речь, владеют литературной техникой. Они умеют строить сюжет, диалоги, знают, что в рассказе надо создать напряжение.

Но эта техника так же мало обеспечивает удачу рассказа, как и талантливость без техники. Один из существеннейших признаков мастерства — умение сочетать развитие сюжета с развитием характера героя в той мере, как этого требует тема.

Возможна новелла сюжетных положений, в которой совершенно необязательны ни характеры, ни развитие характеров. Но было бы ошибкой думать, что это возможно во всякой новелле. Повидимому, как раз этого и не учли авторы новелл «Пионера».

Все это новеллы с моралью, они претендуют на известное воспитательное значение. А это задание предопределяет необходимость заинтересовать читателя не только сюжетом, но и личностью героя. Все это новеллы об изменении характера, о преодолении дурных свойств. А убедительно показать изменение характера одними сюжетными перипетиями невозможно; необходима психологическая трактовка героя.

Ее отсутствие мертвит новеллы, лишает их эмоционального напряжения.

За недостатком места я остановился

только на трех примерах, но их можно было бы привести больше.

В сущности, из всех новелл советских писателей, помещенных в «Пионере» за прошлый год, только три свободны от этого недостатка — упомянутый уже рассказ Радзиевской, рассказ Гайдара «Дым в лесу» и рассказ об Испании Л. Кассиля — «Диско».

Рассказ Гайдара вышел отдельной книжкой, о нем уже писали (см. «Литературное обозрение», 1939, № 20).

А Кассиль проявил новеллистическое мастерство именно в том смысле, как сказано выше. Острый сюжет он соединил с точными характеристиками. Веселый Тонио — Шоколад и солидный Лопес Сальваро, неожиданно оказывающийся владельцем пластинки с записью речи Ленина — это тщательно выписанные образы. Их поступки мотивированы свойствами характера, уже понятого читателями, а не только случайностями сюжетных перипетий, а потому жизненны и убедительны.

III

Автор интересной книги для детей о великом физиологе Павлове, Алексей Югов, выступил в «Пионере» с повестью «Черный дракон». Это единственная в «Пионере» за этот год повесть о школе. Содержание ее несложно. Группа школьников затеяла химический кружок. А один мальчик увлекается разведением голубей. Когда для кружка понадобилось помещение, товарищи уговаривают Васю Крапивина выбросить голубей, а чердак использовать для кружка. Он отказывается, но под давлением отца и управдома должен согласиться и несет продавать своих голубей. Самого дорогого и редкого—«Черного дракона» у него крадут на базаре. Он в отчаянии. Ссорится с товарищами. Чуткая пионервожатая сводит его с военным голубеводом. Вася получает поручение воспитывать почтовых голубей. Все кончается благополучно, и доказано, что приятели зря смеялись над васиным увлечением, и отец и управдом напрасно считали это простой забавой. Голубеводство так же полезно, как увлечение химией.

А так как никакой другой идеи в повести не содержится, то получается бедновато. Конечно, не одним только количеством идей измеряется литературная ценность повести. Но — должен извиниться за частое повторение — беда та же, что и в новеллах: нет характеров. Герои повести разговаривают о разных вещах — преимущественно о голубях и химии, — но из диалогов не возникают характеристики героев.

Это происходит и потому, что говорят они одинаковым языком — реплики не индивидуализированы, — и потому, что говорят почти ни о чем. Повесть оказалась ненагруженной, плоскостной. Слишком уж элементарны ее мораль и единственная коллизия. Они не могут создать эмоциональное напряжение, тем более, что читатель равнодушен к схемам мальчиков и девочек, которые пытаются быть героями повести, и тем более к проектному чертежу идеальной, всюду поспевающей пионервожатой.

IV

Напечатаны в этом году в «Пионере» три повести о замечательных советских деятелях.

Здесь прежде всего надо сказать о «Рыцаре революции» Ю. Германа. Это серия рассказов о Дзержинском. Автор не пытался связать их единым сюжетом. Получился биографический очерк в эпизодах. Вместе они создают очень четкий, эмоциональный образ замечательного большевика. Думается, что одна из причин удачи Германа — именно отсутствие сквозного сюжета, отказ от связного повествования. Ему не пришлось заполнять домыслами пустоты, имеющиеся во всякой реальной биографии, не пришлось преодолевать пространства между напряженными, интересными эпизодами.

Ведь не в том задача биографической повести, особенно повести для детей, чтобы рассказать обо всем, что случилось с человеком за его жизнь. Важно создать исторически правдивый и запоминающийся образ.

В нескольких эпизодах Герману удалось показать и глубокую человечность Феликса Дзержинского, и настоящую, непоказную храбрость, и необычайную скромность, и железную волю в суровой борьбе с врагами советской власти. И показал это Герман без всяких дидактических рассуждений, без риторических восклицаний, иной раз на самых незначительных, почти анекдотических эпизодах. С меньшим темпераментом и мастерством, но все же лирично написан рассказ Шатилова о Кирове.

О повести Гаврилова «Луганцы» надо бы говорить отдельно, подробнее. История героического похода на Царицын

рассказана у Гаврилова добросовестно, некоторые эпизоды занимательны. Но после «Пархоменко» Вс. Иванова образы Ворошилова и Пархоменко в повести Гаврилова не могут удовлетворить читателя. Особенно неприятна неестественная книжность всех реплик Ворошилова в передаче Гаврилова, засушивающая его образ. Образы Пархоменко, Боженко едва намечены. Говорить о них как о цельном художественном воспроизведении исторических героев не приходится.

V

Не меньше половины журнальной жилплощади занимают научные, публицистические и очерковые материалы.

Напечатана новая работа М. Ильина, написанная в сотрудничестве с Е. Сегал — «Как человек стал великаном». Ильин умеет находить неожиданные повороты темы, находить факты, не иллюстрирующие, а развертывающие тему. Это большое и редкое искусство — он его вполне проявил в новой работе. «Как человек стал великаном» — рассказ о том, как труд сделал обезьяну человеком, как труд превратил первобытного человека в цивилизованного. Отказавшись от дидактических рассуждений, Ильин сумел превратить тему своей работы в ее внутренний сюжет, и это определило удачу рассказа.

Несомненный успех журнала — привлечение к сотрудничеству в научных отделах первоклассных писателей, ученых и «бывалых людей», мастеров своего дела. Очерки Г. Шторма о Полтавской битве, академика Тарле о Севастопольской обороне лишний раз доказывают правильность привлечения крупных сил к популяризации знаний. Горький в свое время предостерегал от «посредников» — компиляторов, кое-как пересказывающих прочитанные ими книги. Для создания полноценной научно-популярной литературы нужно соединение двух качеств: наличия собственной, обоснованной точки зрения автора на материал, который он излагает, и литературного дарования.

Редакция правильно поступает, поручая талантливым писателям обработку высказываний бывалых людей. Так Р. Фраерман, хорошо знающий Дальний Восток, обрабатывает рассказ о Хасанских боях.

Но нередко и сами бывалые люди обладают достаточным литературным дарованием. Этих людей надо найти, надо помочь им взяться за перо, «выжать» из них рассказы о своей работе. И получаются иной раз превосходные вещи. Недаром так популярны у нас книги Расковой, Водопьянова, Папанина.

«Пионер» широко привлекает замечательных людей нашей страны к сотрудничеству в журнале. И в результате — такая удача, такая превосходная выдумка, как письмо пионерам Героя Советского Союза Египко, написанное — подумайте только! — на дне Черного моря. Он рассказывает ребятам о подводной лодке, о ее механизмах, о том, как работает команда, как идет жизнь в погруженной лодке.

В научном, в публицистическом отделах журнала чувствуется организующая работа редакции, есть попытки, еще робкие, создания небанальных форм публицистического общения с детьми. Хорошо придуманы рассказы из жизни Ленина, сделанные подписями к его портретам в разные периоды жизни. Разнообразна большая подборка о Дальнем Востоке в № 9, включающая и рассказы, и стихи, и дальневосточные сказки, и очерки, и письма ребят. Хорошо придумана и игра читателей — проектирование нового города на Дальнем Востоке. Академик архитектуры Н. Колли дал ребятам руководящие указания по проектированию, и они, повидимому, с интересом принялись за дело. Лучшие проекты печатаются в журнале.

Но все же с публицистикой еще не благополучно в «Пионере». Многие материалы только пересказывают газетные статьи, дают не запоминающиеся факты, а общие рассуждения.

Настоящая работа над публицистикой для детей, как самостоятельным жанром, еще почти не начата.

VI

О многом не пришлось упомянуть в этом кратком обзоре — об интересном спортивном рассказе И. Рахтанова, об исторической повести Зонина, посвященной капитану Головнину. Хотелось остановиться на основных, имеющих принципиальное значение материалах.

Выводы в статье не обязательны, обычно они в упрощенном, афористическом виде повторяют то, о чем говорилось в связи с конкретными литературными произведениями. Но все же — не выводы, а некоторые пожелания, хотелось бы высказать.

Во-первых, о новелле. Это чрезвычайно важный, ведущий для журнала жанр. Мне кажется, что как раз в этой области редакция не приложила достаточных стараний. Безусловно можно привлечь в журнал писателей, не занимающихся специально детской литературой. В беллетристическом отделе журнала не только не появились новые имена, но исчезли и те, которые успели заинтересовать читателя. Ни одной вещи Фраермана, по одному рассказу Гайдара и Кассиля. Совершенно не использованы ленинградские писатели — например Зощенко, который в прошлом году начал писать для детей.

Надо было бы присмотреться и к писателям не столичным. В Свердловске, Челябинске, Ростове, да, конечно, и в других городах живут писатели, систематически работающие над произведениями для детей.

Ведь одна из очень важных задач журнала — вводить в литературу новых людей. А впечатление такое, что «Пионер» не столько показывает Детиздату, где надо искать интересные рукописи, сколько сам ищет для себя материалы в редакционных портфелях Детиздата.

Журнал не стал еще творческой лабораторией по созданию новеллы для детей и публицистики для детей. А это жаль, потому что редакция не пренебрегает выдумкой, журнал делают люди неравнодушные, горячо заинтересованные своим делом. Они могли бы сделать свою редакцию местом плодотворных бесед писателей об искусстве создания детского рассказа и очерка, и не только бесед, но и осуществления идей, возникающих в таких обсуждениях. В частности, полноценная публицистика для детей может появиться только в результате упорной совместной работы писателей с заинтересованной редакцией. Тут нельзя ждать, что рукопись будет принесена и положена на стол.

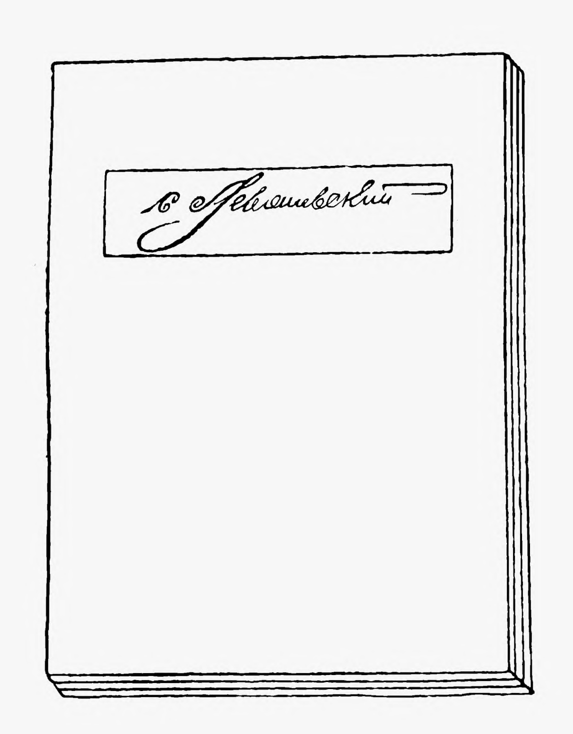
И, наконец, о темах. Читатель, вероятно, заметил в пересказах новелл, которые выше анализировались, некоторую мелкотравчатость и повторяемость тем и сюжетов.

У Замчалова трус становится храбрым, и в рассказе Парийской трус становится храбрым. У Шатилова два поэта — один скромный, другой зазнавшийся, а у Крачковской две пианистки — одна скромная, другая зазнавшаяся. Тема преодоления трусости, конечно, не мелкая, но очень уж разработанная в нашей литературе, и разработанная одинаково примитивными методами.

На пленуме ЦК ВЛКСМ было много сказано о нашей школе. Отмечалось немало отрицательных черт школьного быта. И вот эти-то боевые, важнейшие темы никак литературно не разработаны в «Пионере», даже попыток не сделано. «Пионеру» необходим злободневный литературный материал — злободневный в понимании Маяковского.

В этом деле организующую роль редакции ничто не сможет заменить. Упорно и темпераментно должна редакция пропагандировать среди писателей злободневные темы, она должна предоставить писателям возможность детально ознакомиться с школьным бытом, с интересами школьников, крепко связать с школой актив своих авторов, и тогда можно рассчитывать, что появятся в журнале литературные материалы на самые важные темы—материалы большого художественного и воспитательного значения.

Коротко о книгах




«Сигизмунд Леваневский»

Книга Макса Зингера — первая обстоятельная биография трагически погибшего Героя Советского Союза С. Леваневского.

Сигизмунд Леваневский родился в Петербурге в 1902 году. Рано лишившись отца, он стал кормильцем семьи.

В Октябрьские дни вместе с другими рабочими он вступает в Красную гвардию.

Спустя несколько лет мы застаем Леваневского слушателем военной школы морских летчиков в Севастополе. В 1933 году осуществляется его мечта — он совершает дальний рейс на тяжелой морской машине из Севастополя на Чукотку для ледовых разведок. Перед полетом он знакомится с Левченко, одним из лучших навигаторов-воздушников Черного моря. Это знакомство послужило началом большой и тесной дружбы двух мужественных, смелых людей. Вскоре Леваневский получает срочное задание начать поиски американского летчика Маттерна, совершавшего скоростной перелет вокруг света. Леваневский находит Маттерна в селении Анадыр. Доставив Маттерна в Америку, наши летчики обратный путь на родину совершают через Аляску, Охотское море и о. Врангеля с посадкой в бухте Тикси. Этим закончился первый большой северный перелет Леваневского. Узнав по радио о гибели парохода «Челюскин», он немедленно сообщает о своем желании вылететь на помощь погибающим и принимает участие в спасении челюскинцев.

В 1935 году у Леваневского рождается план нового полета в Америку через Кольский полуостров, Баренцево море. Но этот полет не был закончен.

Вскоре после возвращения из Америки Леваневский снова подбирает людей для нового перелета через полюс.

12 августа 1937 года в 18 час. 15 мин. со Щелковского аэродрома близ Москвы был дан старт третьего беспосадочного перелета по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка. Но из этого полета Леваневский уже не вернулся...

Книга издана в Ленинграде изд-вом Главсевморпути и снабжена интересными фотографиями.

Е. Ур.

«Артиллеристы»

В 1939 году русской артиллерии исполнилось 550 лет.

Этому роду оружия, сыгравшему огромную роль в русской военной истории и являющемуся одним из серьезнейших технических средств современного боя, и посвящен выпущенный издательством «Молодая гвардия» литературно-художественный сборник «Артиллеристы».

Сборник знакомит читателя с богатым прошлым русской артиллерии.

Перед читателем развертывается величественная эпопея героических дел русских артиллеристов, которые, несмотря на бездарность и продажность военной правящей клики, одерживали блестящие победы над зачастую превосходившим в количественном и техническом отношении врагом.

Значительное место уделяется материалу, освещающему деятельность совет-

ских артиллеристов в боях за социализм. Очерки заместителя наркома обороны командарма I ранга Г. Кулика, комбригов С. Краснопевцева, Л. Говорова, С. Лебедева, полковника В. Стеснягина и других воссоздают отдельные боевые эпизоды гражданской войны и рисуют целую галлерею образов бесстрашных народных героев — бойцов и командиров, — многие из которых приходили к пушкам с заводов, от станка и осваивали премудрость орудийной стрельбы на полях сражений. В этих очерках обрисованы характернейшие качества советских артиллеристов, их безграничное мужество, выдержка, настойчивость и находчивость, их глубокая вера в свои силы и свою победу.

Заключают книгу очерки из жизни курсантов артиллерийских школ и рассказы об участии советских артиллеристов в современных боях.

Книга любовно оформлена и прекрасно иллюстрирована документальными фото и репродукциями с произведений русских художников, рисунками и карикатурами Кукрыниксы, А. Каневского, К. Ротова и заслуженного деятеля наук, академика Н. Самокиша.

В. Вр.

«Давид Гаррик»

Книга Н. Минца воссоздает портрет великого английского актера, первым выступившего в XVIII веке борцом за реалистическое театральное искусство.

Гаррик отстаивал свои принципы не только в своей сценической практике, но и в ряде теоретических выступлений. Центральное место в монографии занимает описание методов работы Гаррика над ролью, характеристика созданных им образов, его взаимоотношений с актерской средой, встретившей очень враждебно новаторство Гаррика и яростно отстаивавшей позиции классицизма.

Пониманию духа эпохи, в которой жил и творил Гаррик, характера тех колоссальных сдвигов, которыми ему обязан был не только английский, но и европейский театр, помогают многочисленные выдержки из статей и воспоминаний современников Гаррика и из брошюр, написанных самим актером. Немногим известно, что Гаррик выступал и в роли драматурга: им было написано около сорока пьес, а количество обработанных и переделанных им пьес даже не поддается учету. Минц останавливается главным образом на его работе над переделкой пьес Шекспира, создавшей Гаррику славу лучшего интерпретатора гениального английского драматурга.

Книга дает представление о многосторонности Гаррика, с одинаковым успехом выступавшего как в трагических, так и в комедийных ролях. Современники актера особенно отличают его гениальные мимические способности. До каких высот искусства он поднимался в этой области, свидетельствует следующий факт: ближайший друг Гаррика, известный писатель Лоуренс Стерн, выразил перед смертью желание увидеть отсутствовавших друзей. Гаррик вышел в другую комнату, а затем последовательно имитировал перед умирающим Фельдинга, Джонса, Попа...

Книга выпущена издательством «Искусство».

Я. Р.

«Мой театральный опыт»

Эта книга принадлежит перу одного из крупнейших художников сцены — народному артисту Республики Б. А. Горину-Горяйнову.

Книга написана в форме мемуаров. Однако содержание ее выходит за рамки мемуарной литературы.

Вспоминая свой сорокалетний творческий путь, автор делится с читателями сомнениями первых лет театральной деятельности, рассказывает о своих исканиях, о людях и идеях, помощь и влияние которых помогли ему преодолеть трудности, казавшиеся непреодолимыми, стремится обобщить опыт всей своей сценической работы.

С большой теплотой и благодарностью вспоминает автор, в частности, о встречах на сцене с В. Ф. Комиссаржевской.

Специальные главы автор посвящает работе над ролью, проблеме образа, сценическому вниманию, сценической среде.

Б. А. Горин-Горяйнов не предлагает всеобъемлющей теории искусства актера, не пытается убедить читателя, что найденные им методы — единственно правильные. В своих выводах он исходит из личного опыта, имея одну задачу — поделиться им с товарищами по искусству, оставляя за ними свободу собственных выводов и суждений.

Издана книга Ленинградским Государственным Ордена Трудового Красного Знамени Академическим театром имени А. С. Пушкина.

З. Ш.

„Магеллан“

Е. Книпович

Новая книга-эссе Стефана Цвейга «Магеллан» во многом непохожа на его последние исторические книги. Она не является апологией компромисса, золотой середины, мудрого созерцания, как «Эразм Роттердамский», она прославляет активное отношение к жизни.

Время, к которому относится действие романа Цвейга — это рубеж XV и XVI веков, те «два-три десятилетия», в течение которых «было открыто больше, чем за тысячелетия». «Мир сразу сделался почти в десять раз больше, — писал об этом времени Энгельс, — вместо четвертой части полушария теперь весь земной шар лежал перед взором западноевропейцев, которые спешили завладеть остальными семью восьмыми. И вместе со старинными тесными границами родины пали также и тысячелетние рамки предписанного средневекового мышления. Внешнему и внутреннему взору человека открылся бесконечно более широкий горизонт. Какое значение могли иметь репутация порядочности и унаследованные от ряда поколений почетные цеховые привилегии для молодого человека, которого манили к себе богатства Индии, золотые и серебряные рудники Мексики и Потози? То было для буржуазии время странствующего рыцарства; она переживала также свою романтику и свои любовные мечтания, но по-буржуазному преследуя в конечном счете буржуазные цели» (Маркс и Энгельс. Собрание соч. Т. XVI. Ч. I, стр. 61—62).

Конечно, Стефан Цвейг неравномерно акцентирует разные стороны совершавшейся в ту пору «всеобщей революции». Его внимание, в первую очередь, устремлено не на буржуазный характер романтики. Все его герои — не только сам Магеллан, но и его молодой спутник Антонио Пигафетта и его предшественник Лодовико Вартема — пускаются в путь прежде всего потому, что им хочется воочию увидеть «что-нибудь из того великого и страшного, чем изобилует океан», самим убедиться в существовании огромного мира, опровергающего «пространственные ограничения средневековья».

Стефан Цвейг остро и правильно чувствует, что эпоха великих открытий была важнейшим вкладом в историю «коллективного

Стефан ЦВЕЙГ. — Магеллан. «Интернациональная литература». 1939. № 9—10.

опыта человечества» (Горький), что ни одна из предыдущих эпох не знала такой тяги человека к освоению земли, к покорению стихии, к научным открытиям:

«Быть может, только наше поколение, пережившее завоевание воздуха, мы, тоже ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем, летал по воздуху три, пять, десять километров, а спустя десятилетие уже видевшие перелеты над материками и океанами, — мы одни способны в полной мере понять то пылкое участие, то бурное ликование, которым вся Европа сопровождала внезапное и стремительное проникновение Португалии в неведомую даль».

Стефан Цвейг сумел понять и изобразить в своей книге и еще одну, чрезвычайно существенную вещь. Он понял, что не случайно дерзкие стремления «практиков» могли в ту пору обгонять и ставить на голову построения «теоретиков». Новые земли, «то скованные льдом, то поросшие пальмами», поднимались из океана быстрее, чем успевала просохнуть краска на последних, «исправленных и дополненных» глобусах и картах. Кораблеводитель, капитан определял очертания материков, измерял форму и объем земного шара, потому что теоретик и практик, человек созерцания и действия, разума и воли еще не был тогда «раздроблен жизнью» (М. Горький) и мог совмещаться в одном лице.

Но романтика, любовные мечтания человека, впервые за тысячелетия измеряющего и открывающего свое обиталище — землю, нередко отрываются для Стефана Цвейга от исторической почвы.

Это сказалось и в выборе героя книги и в трактовке образа этого героя. Стефан Цвейг не случайно остановил свое внимание на неудачливом, с точки зрения «буржуазной корысти», мореплавателе. И не случайно его книга рассказывает о том открытии, которое, опять-таки с точки зрения «корысти», оказалось почти бесполезным. Во всей книге Цвейга есть несомненное стремление очистить «романтику» подвига Магеллана от «буржуазной цели», сделать своего героя выразителем идеальных стремлений человечества. Мы совершенно не требуем, чтобы Стефан Цвейг обстоятельно перечислил, кого убил и кого ограбил Магеллан во время своей службы в Индии или на покоренных им островах Тихого океана. Тем более, что грабил он, очевидно, плохо, потому что из Индии он вернулся нищим, и ничего, кроме ран и увечий, его колониальная карьера ему не дала. Кроме того, летописцы, даже враждебные Магеллану, неоднократно свидетельствуют об исключительном личном благородстве этого человека.

И ошибка Стефана Цвейга, на наш взгляд, заключается не в идеализации своего героя, а в том, что он слишком часто и слишком настойчиво напоминает читателю о реальной бесцельности мужества, стремлений, подвига Магеллана. Так, в книгу об активном отношении к жизни входит тема «победителя, не получившего ничего», тесно связанная с тем «стоическим пессимизмом», который возник в литературе «конца века», как декандентская попытка преодолеть декадентское представление о человеке. Человек—пленник судьбы — маленький, нетворческий, пассивный, преодолевает, согласно этой концепции, свое тягостное и унизительное положе-

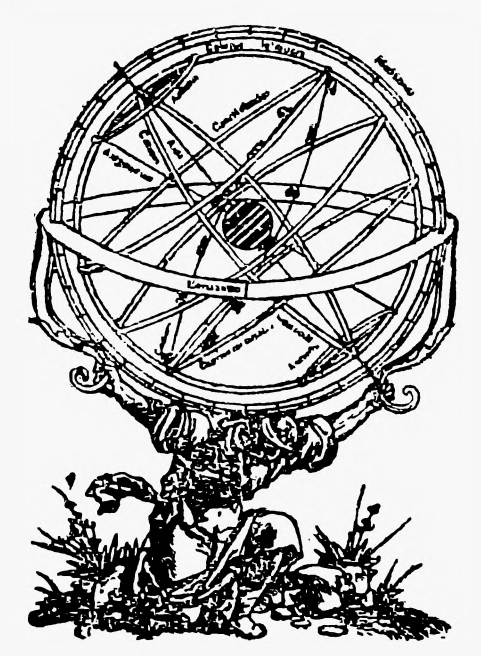
ние, становится большим, только проявляя реально бесцельное, самодовлеющее мужество перед лицом смерти, которой он обречен.

И это декадентское, искаженное представление о мужестве, имеющем лишь абстрактное, вечное значение, несомненно, присутствует в книге Стефана Цвейга и порою окрашивает в мрачные тона романтическую историю жизни Магеллана.

Магеллан Стефана Цвейга — однодум, почти визионер, причем грандиозный замысел кругосветного плавания не рождается у него уже во время путешествий, как это, вероятно, было на самом деле, а предшествует его практическим шагам, ведет его сквозь все препятствия. Чистое визионерское стремление заставляет Магеллана покинуть родину — Португалию и перейти на испанскую службу, помогает ему преодолеть косность и недоверие испанских чиновников, интриги португальских дипломатов. И эта отвлеченность, это выражение «химически чистых» и общечеловеческих стремлений позволяет Стефану Цвейгу, который всегда относился к действию и особенно к связанному с действием насилию чрезвычайно настороженно, признать и санкционировать и подавление мятежа, поднятого на кораблях Магеллана испанскими офицерами, и казнь этих бунтовщиков в бухте Сан-Хулиан.

В книге Цвейга есть подлинный пафос и драматизм. Но эти качества не исчезли бы, а только углубились и усилились, если бы она стала более «земной», если бы в ней присутствовало то реальное соотношение «романтики» и «корысти», которым были проникнуты стремления Магеллана и всех его современников. Прекрасным графическим изображением этого соотношения мог бы послужить герб, дарованный императором Карлом V капитану Дель-Кано, завершившему плавание после смерти Магеллана. Герб этот состоял из двух скрещенных веток корицы, обрамленных мускатными орехами и гвоздикой, но их увенчивал земной шар с гордой надписью: «Ты первый оплыл меня».

Может быть, тогда исчезли бы печальные, декадентские ноты. которые порой звучат в цвейговской интерпретации «извечной летописи человеческих страданий и человеческого мужества, которую мы именуем историей».



Стихотворения Шевченко

Л. Пинский

В этом году, в связи с юбилеем Шевченко — 125-летием со дня рождения, широко отмеченным советской общественностью всего Союза, на русском языке появился ряд новых изданий стихов великого украинского поэта. Вслед за небольшим выпуском Детиздата, первым полным русским «Кобзарем» в издательстве «Художественная литература» и избранным Шевченко в издательстве «Молодая гвардия», томик малой серии «Библиотеки поэта» также представляет Шевченко в новых (за немногими исключениями) переводах современных советских поэтов.

Отбор произведений вызывает некоторые возражения. Читатель не найдет в рецензируемом томике даже извлечений из таких замечательных поэм, как «Еретик» («Иван Гус»), показательной, наряду с «Кавказом», для интернационального диапазона творчества поэта, или «Мария», для русского читателя представляющей, между прочим, особый интерес, как параллель к аналогичной поэме Пушкина на тот же библейский мотив, разработанный необычайно характерно для поэтического облика автора «Катерины» и «Наймички» (последняя также отсутствует в книге). Нет переводов таких шедевров лирики, как «І мертвим і живим і ненарожденим», «Минають дні, минають ночі», четверостишия «І день іде, і ніч іде» (любимое стихотворение М. Горького) и т. д. С другой стороны, редакторы, ограниченные рамками выпуска «малой серии «Библиотеки поэта», сочли, однако, необходимым поместить такие стихотворения, как «Зацвела в долине», «Не стану я кручиниться» или «Присяду на крылечко я», которые не принадлежат к лучшим образцам стилизации народной песни в «Кобзаре». Песенно-бытовая часть вообще дана полнее, чем гражданская лирика «Кобзаря», и кос-аральские годы творчества (1848—1849), на которые главным образом приходятся стихи первого типа, представлены очень полно — 45 образцами, что в условиях небольшого томика представляется чрезмерным.

Но в этом, несколько субъективном отборе есть и своя хорошая сторона. В кругах наших литературоведов, особенно «шевченковцев», распространено однобокое понимание Шевченко. Его чуть ли не отождествляют с Некрасовым (что почти так же поверхностно, как банальные ассоциации с Кольцовым). При этом выдвигается только негодующая, сатирическая и отрицательная стихия «Кобзаря». К каким превратным обобщениям можно при этом притти, видно из того, что Н. Ф. Бельчиков, автор нескольких статей и отдельной книги о Шевченко, видит в нем ничтоже сумняшеся «поэта критического реализма» (журнал «Октябрь», 1939, № 3, стр. 30). Но чем тогда объяснить, что любимейшим стихотворением Шевченко было «Садок вишневый коло хати», что он его всего охотнее записывал в альбомы своих знакомых и что на Украине каждый школьник именно с него начинает свое знакомство с поэтом. Знаменательно то обстоятельство, что как раз советские поэты, редакторы сборника, у в и д е л и поэта иначе, увидели того Шевченко, который — и как раз в мрачные годы ссылки — мог создать такие шедевры, как «Ой, дуброва темноброва» («Ой, діброво — темний гаю»), «Я за

Т. Г. ШЕВЧЕНКО. — С т и х о т в о р е н и я. В переводах русских поэтов под редакцией Н. Брауна и А. Прокофьева. Предисловие Мих. Зощенко. Вступ. статья, ред. текста и примечания И. Айзенштока. Л. «Сов. писатель» (Библиотека поэта. Малая серия). 1939. Стр. XXVIII +331. Тираж 20 000. Ц. 6 руб.

речку в лес ходила» («У перетику ходила»), «Если б пару мне сапожек» («Як би менi черевики»), «Ой строчечку да к строчечке» («Ой стрiчечку до стрiчечки») и т. д., явно не укладывающиеся в рамках какого бы то ни было «критического реализма» (к слову сказать, термин этот в последнее время приобрел смысл почти прямо противоположный тому, который вкладывал в него М. Горький, когда вводил его в литературу).

Речь идет, разумеется, не о том, чтобы противопоставить в лирике Шевченко одни создания другим. Поэт гневных строк,

Когда б вы знали, господа,
Где плачут люди, вы тогда
Своих идиллий не творили б,
И бога всуе не хвалили б,
Не умилялись бы всегда, —

меньше всего был склонен изображать «хатину в гаї тихим раєм» и крепостную Украину в условных чертах края, «где все обильем дышит». Как раз для правильного восприятия бунтарской, революционной стихии «Кобзаря» важно почувствовать, чтó ее питало, чтò поддерживало Шевченко в минуты самого страшного одиночества, почему «весь круг его дум и сочувствий» всегда «находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни» (Добролюбов). Только тогда становится понятным парадокс шевченковской музы на фоне не только украинской и русской, но и мировой поэзии, как явления единственного в своем роде.

Знаменательны в этом смысле поэтические признания самого Шевченко. Например, в стихотворении 1849 года (косаральских лет):

Не самому ль мне написать
Послание себе в отраду
И дочиста в нем рассказать
Все то, что надо и не надо?
. . . .
Уж, кажется, и срок настал.
Ведь десять лет свой круг свершили,
Как свой «Кобзарь» я людям дал,
А им, как будто, рот зашили,
Молчат, не споря, не кляня,
Как будто не было меня.
. . . .
О боже правый! Как хотелось,
Чтобы мне кто-нибудь сказал
Хотя бы слово; чтоб я знал,
Кому пишу я песни с жаром?
За что Украину люблю?
Огонь святой не трачу ль даром?
. . . .
За что? Ей-богу, сам не знаю!
А все-таки его люблю —
Простор Украины широкий.
Шел по земле я одинокий,
Себе и друга не нашел —
И вот до гибели дошел...

Не плачь, не жалуйся, не стоит!
Себя в стальную бронь закуй,
Молитвой сердце успокоив,
Н а м н е н ь е о б щ е е н а п л ю й!
О н о г л у п е й к о ч н е й
к а п у с т н ы х.
А там, как хочешь, друг мой
грустный, —
Сам свое дело обмозгуй.

Если крайнее отчаяние предпоследних (подчеркнутых) строк не заставило поэта замолчать и не ввело его в круг отрицательной романтики байронической «мировой скорби», то это потому, что Шевченко всегда сохранял непосредственную и всестороннюю связь с народной жизнью и ее традицией, то «совершенное соответствие», о котором говорит Добролюбов. Понять Шевченко невозможно, если не оценить национальные основания его поэзии и особые условия Украины, ее настоящего и прошлого. Украина, как известно, была закрепощена окончательно только при Екатерине II и лишь в 1775 году была уничтожена «Запорожская сечь».

Иной характер приобретает поэтому у Шевченко и казацкая романтика его ранних поэм, столь отличная по тону от безнадежной меланхолии его современников Метлинского и Костомарова. Читатель «Гайдамаков» не может пройти мимо сообщения Шевченко, что его поэма создана на основе живых рассказов, которые он слышал от своего деда, свидетеля исторических событий, воспетых внуком. Вся эволюция поэзии Шевченко, такой органической и цельной, исключает, поэтому, возникновение ч и с т о с а т и р и ч е с к о г о и только отрицательного подхода к жизни. И большой наивностью отличается взгляд на «Катерину» как на поэму, где выражен только «протест против политики подавления царизмом украинского народа, протест против гибели «покриток», жертв сластолюбия... царской военщины» и т. п. (из той же статьи Бельчикова).

Перевод Шевченко на русский язык — настоящий, адекватный оригиналу перевод — дело необычайно ответственное, сложное. Сама близость украинского языка к русскому способна скорее сбить

с толку переводчика, чем помочь ему. Чаще всего при этом сохраняется краска и пропадают поэтические оттенки, национально-традиционный колорит, столь важный для художника, стиль которого — органическое продолжение строя и духа народной песни. «Кобзарь» в одно и то же время — образец и самой революционной и самой традиционной поэзии, какую только можно себе представить. К Шевченко более всего применимо восклицание Шелли по поводу всяких переводов поэзии на другой язык: «растение должно взойти из семени, иначе оно не принесет цветов, — вот где проклятие вавилонского смешения языков».

Стихи Шевченко появляются на русском языке еще при жизни поэта. В 1860 году вышел «Кобзарь» в переводе русских писателей под редакцией Гербеля. Несмотря на ряд последующих новых изданий, настоящего Шевченко читатель русских переводов не знал. Русский «Кобзарь» до последнего времени стоял несравненно ниже переводов западно-европейской лирики по творческой силе воспроизведения духа оригинала и конкретной силе выражения.

Перевод Шевченко, как и всякого поэта, прежде всего должен быть творческим делом, а не рабским воспроизведением выражения. Знаменитое начало «Катерины» потеряло в переводе Рождественского основное — свою наивную непосредственность и звучит скорее как пародия на шевченковский текст:

Чернобровые, любитесь, (!)
Да не с москалями,
Чужаки они (!), и худо
Обойдутся с вами.

Перевод лексически очень близок (необходимое условие и пародии), но все дело в различии оттенков между наивно-народным «бо москалі чужі люде» — и «чужаки они». Украинское «любитесь» понятно русскому читателю, но смешно своей необычностью. Вообще, калькированный перевод приводит, естественно, к обилию украинизмов: «Не пытай, не знает» (Браун, стр. 13), «У Днепра пытает» (Браун, стр. 58), «Пытают у буйного» (там же). Не всегда даже эти украинизмы понятны незнакомому с украинским языком читателю. Сурков, например, переносит почти, нетронутый стих «Пускай злыдни живут три дня» (стр. 20), заменив лишь «нехай» на «пускай». Книга даже не снабжена пояснениями украинизмов. А ведь не всякий читатель поймет, что значит «злыдни», «домовина», «замордовали», «байстрюк» и т. д. Вряд ли стилистически правилен буквальный перевод Твардовского «Как у бога за дверями» (83): обычная народная поговорка (соответствующая русской «как у христа за пазухой») теряет свой традиционный характер в переводе и воспринимается читателем как индивидуально-творческий необычный образ. Неуклюже звучит в переводе Гатова «в дурня обратила» (175) (по-украински — «У дурні пошила»—оставила в дураках). Кое-кто из переводчиков сохраняет украинское слово даже тогда, когда по-русски оно имеет другой смысл. Например, «подивився» — подивился (Звягинцева, стр. 278).

Обилие украинизмов приводит к тому, что перевод начинает звучать как стилизация. Но что применимо и даже необходимо при переводе некоторых «песен» «Кобзаря», вроде «Протоптала стежечку через яр» (пер. Звягинцевой), совершенно недопустимо применительно к «Кобзарю» в основном — созданию гения органического, оригинального, народного и потому чуждого эффектов «местного колорита».

Но в книге немало и настоящих, творческих переводов. Преодолевая неодинаковые — в зависимости от характера произведения — трудности, Антокольский («Кавказ», при отдельных мало удачных строках), Ромм («Холодный Яр»), Асеев, Прокофьев, Твардовский, Ушаков, Сурков и другие сумели дать переводы, которые приближаются к оригиналу. Можно смело сказать, что только с этого года, вместе с выходом отмеченных выше изданий, начинается настоящая «история» русского «Кобзаря». Опыты прошлых лет (издания Гербеля, Славинского, Белоусова, Соллогуба), за единичными, более или менее удовлетворительными переводами отдельных стихов, будут интересны только для «истории вопроса». Только когда за это дело принялись лучшие советские поэты, произошел настоящий перелом.

Нельзя сказать, однако, что и при творческом понимании своих задач переводчики всегда стоят на верном пути. Прежде всего именно при таком принципе возникает опасность внесения чужеродной стихии в шевченковский текст, что видно хотя бы из следующих примеров:

Шевченко («Сова»)
У богатых ростуть діти —
Верби при долині.

А у вдови одним-одно,
Та й те як былина.
Шевченко
Нумо, сердце, лицятися,
Та поїдем вінчатися,
Щоб не знали батько й мати
Де мы будем ночувати.
Пер. Твардовского (стр. 83).
У богатого ребята (!) —
Что твоя картинка (!!).
У вдовы один мальчонка (!) —
И тот, как былинка.
Пер. В. Инбер (стр. 213).
Кто б нас ни выслеживал,
Мол, куда вы, да где же вы, —
Ночка темная укроет
Нашу свадебку с тобою.

Бойкие частушечные образы и лексика Твардовского так же далеки от тонкого и простого узора оригинала, как и каламбурные рифмы Инбер (составные рифмы, иногда встречающиеся в «Кобзаре», далеки от этого типа).

Затем совершенно недопустимы произвольные отклонения от оригинала, не вызванные ни языковыми, ни метрическими соображениями. Ни чем иным, как желанием «улучшить» и «усилить» оригинал, нельзя объяснить такие образцы отсебятины, как например:

1) Ой, повій, повій, вітер, через море,
Та з Великого лугу.
Суши наші сльози, заглуши кайдани,
Розвій нашу тугу.
2) А правда наша п'яна спить.
3) А голосна та правдива,
Як господа слово.

1. Ой, подуй, подуй, ветер, через море
От Великого луга,
Высуши нам слезы, размечи заботы,
Развей нашу тугу (Асеев, 73).
2. А правде — спать и пьяной быть (Антокольский, 115).
3. Сладкозвучна и правдива,
Как господа слово (Браун, 59).

Эти изменения (не обусловленные даже техническими условиями контекста перевода) везде только ослабляют силу выражения, заменяя конкретный образ—абстрактным (Асеев), растягивая фразу (Антокольский) или вводя определение прямо противоположного характера (Браун). Бесцеремонное обращение с оригиналом принимает форму курьеза у Ф. Соллогуба (один из перепечатанных в книге старых переводов):

Шевченко
Одурив ти нас, убогих
Ми ж, окрадені, небоги
Самі тебе одурили
І, скичляги, возопили:
Алілуя!
Пер. Соллогуба (стр. 287).
Обманул ты всех нас тяжко;
Мы обкрадены, бедняжки,
И себя мы обманули
И, стеная, затянули:
Аллилуя!

Тебя (укр. тебе) заменено на «себя», благодаря чему изменился весь смысл строфы и вместо саркастического гимна черниц получилась жалобная песня.

Но рекорд самостоятельности в «улучшении» оригинала побил, кажется, В. Державин, который «переводит» русские строки поэмы «Сон» на русский язык в сцене, где поэт, перенесенный в царский Петербург, разговаривает со своими земляками:

Экой чудак!
Я вси входы знаю,
Я тут служу; коли хочешь,
В дворец попытаюсь
Ввести тебя. Только, знаешь,
Ми, брат, просвещенны:
Не поскупись полтинкою...
В. Державин
— Послушай,
Тут мне все знакомо.
Проведу тебя, коль хочешь,
Хоть к царю в хоромы!
Но мы, брат, просвещенные,
Запомни, любезный! (?!)
Не поскупись полтиною...

Дальше итти в «недоверии» к оригиналу невозможно. Даже «полтинкою» «творчески» заменено на «полтиною». Остается только воздать должное добросовестности переводчика, который, очевидно, не захотел получить гонорар за техническую работу переписывания. Руководствуясь его примером, французские переводчики «Войны и мира» должны будут перевести и французский текст Толстого.

Чаще всего, однако, отклонения от шевченковского текста обусловлены у переводчиков метрическими соображениями. Метрика «Кобзаря» в основном троякого типа: 1) четырехстопный ямб, корни которого восходят к классическому русскому стиху пушкинской поры, 2) двенадцатисложный цезурованный силлабический стих женского окончания, чередующийся с соответственным одиннадцатисложным стихом мужского окончания и восходящий к польскому типу александрийского стиха, 3) различные виды силлабических размеров украинских народных песен, наиболее частым видом этого типа является так называемая «коломийка» (чередование восьми-

сложного стиха разных окончаний с шестисложным обязательно женским стихом).

Больше всего расхождений среди переводчиков вызывает последний размер. Основываясь на явно выраженной в нем тенденции к хореизации, старые переводчики, «исправляя» Шевченко, превращали эту тенденцию в последовательный принцип, понимая коломийку как сочетание четырехстопного хорея с трехстопным. Приемлемая с грехом пополам в небольших стихотворениях, такая тонизированная коломийка невыносимо однообразно звучит в поэме. Между тем это самый характерный для «Кобзаря» размер, гибкость и разнообразие которого после тонизации совершенно пропадает. Кроме того, переводчики, связанные неизвестными оригиналу требованиями, вынуждены произвольно менять текст и образы Шевченко. Так, Гербель, в лучшем своем переводе «Перебенди» (помещенном в рецензируемой книге) начинает стихотворение: «Перебендя старый, х и л ы й — Кто его не знает». У Шевченко это знаменитое начало звучит иначе: «Перебендя старий, с л і п и й — хто його не знае». Таким образом важная эпическая черта в портрете этого украинского рапсода-лирника, «гомеровская» слепота, обычная для кобзарей на Украине, в угоду размеру, опущена и заменена случайной и незначительной «хилостью».

Современные переводчики в большинстве идут за Багрицким, который в «Думе про Опанаса» стилизовал коломийку, как хореический размер, допуская часто для разнообразия во второй строке замену трехстопного хорея двухстопным амфибрахием. Такой передачи коломийки придерживаются Твардовский, Антокольский, Ромм и др. Но что разрешается оригинальной поэме Багрицкого, не разрешается переводчику, тем более, когда он, выдерживая произвольный метрический принцип, пренебрегает другими сторонами оригинала. Так, например, Антокольский меняет строчку «По закону апостола» на «по апостольским заветам» (изменение, не обусловленное контекстом перевода, но только тоническим толкованием силлабики оригинала), нарушая мелодический ход поэмы. (У Шевченко предшествующая строфа заканчивается словами «ми по закону», и повтор подчеркивает переход от спокойного сарказма ямбов к патетическому негодованию коломийки.) Таких примеров можно привести немало.

Наконец, некоторые новые переводчики (Рождественский в «Катерине», Державин в «Сне» и др.) передают коломийку простой силлабикой. Нетрудно, однако, заметить, что не всякий восьмисложный стих передает ритмику оригинала.

Например, вполне по-шевченковски звучат такие строки перевода Асеева, как «Поднялися волны-горы», «Поверх челна шумит волна», «Потом станут удивляться», «Потом спросят: куда делся?» и т. д. и совершенно не по-шевченковски «Шелестит ветер осокой» (все примеры взяты из одного стихотворения, стр. 72).

Дело в том, что Шевченко вводит постоянную цезуру в нечетные строки коломийки, которая принимает форму 4 + 4 + 6, очень редко (не более 1—2% строк) отступая от этого правила. При таком дробном членении тонизация излишня: и без нее метрическое членение легко воспринимается на слух, к т о м у ж е ч а с т о п о д ч е р к и в а е м о е п а р а л л е л и з м о м п о л у с т и ш и й и л и с т и х о в (см. примеры выше). Только в переводе «Гайдамаков» (Б. Турганова) этот принцип выдержан последовательно. Другие переводчики спорадически воспроизводят его, испытывая непосредственное воздействие звучания оригинала. Нет никаких оснований сомневаться, что этот размер дойдет до русского читателя. Во всяком случае, он куда естественнее, чем так часто появляющиеся в переводах античных поэтов логаэдинские размеры.

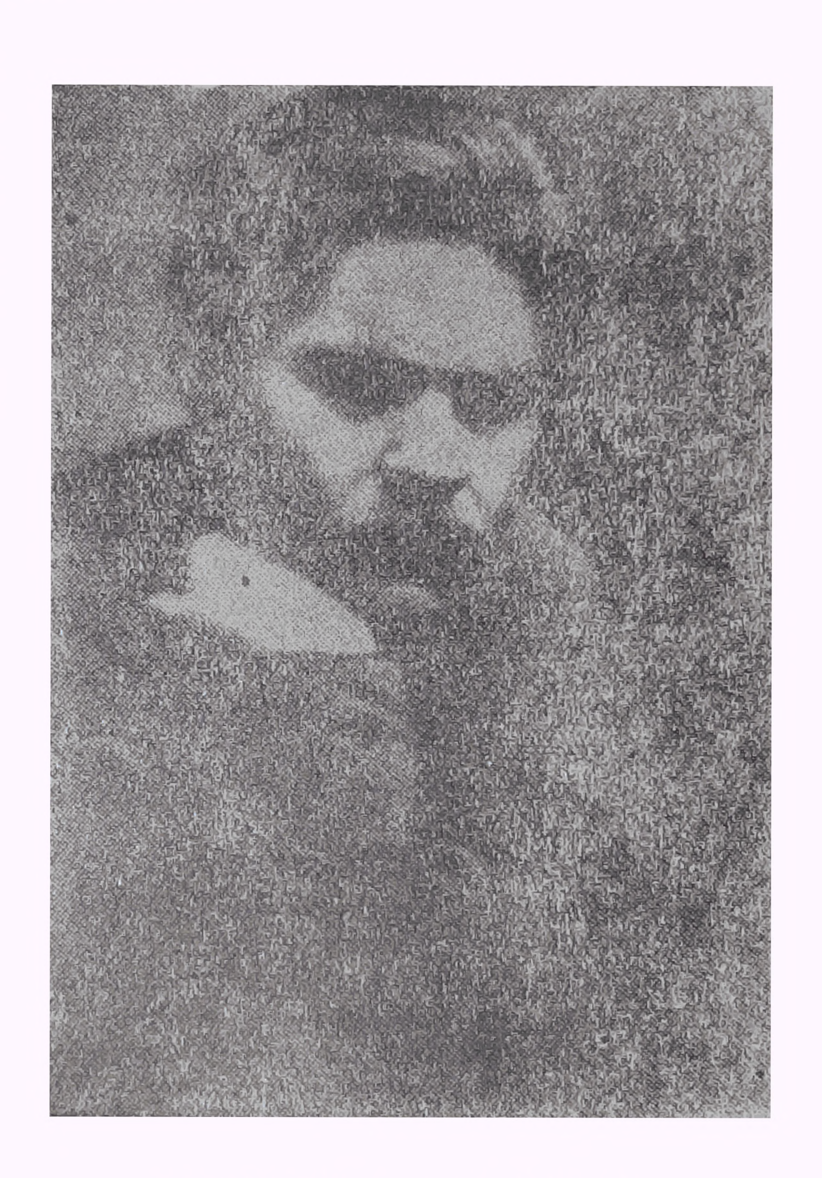
В общем, несмотря на все достижения новых переводов, которые, повторяем, не идут ни в какое сравнение с прежними, еще не слишком много сделано для того, чтобы старое положение Горького — «Шевченко нужно читать только в подлиннике» — было опровергнуто.

Комментарии И. Айзенштока часто носят случайный характер. Например, в примечании к «Перебенде» сообщается ряд сведений о Г. Гребенке, которому посвящено стихотворение, хотя в тексте даже нет указания на посвящение. Не лучше ли было бы дать какие-нибудь пояснения к упоминаемым в стихотворении песням кобзаря, совершенно неизвестным русскому читателю («Чалый», «Гриць» и т. д.). К стихотворениям «Мы вместе некогда росли», «Не томилась за сына», в которых упоминается Оксана, читатель тщетно будет искать пояснений в комментариях. Между тем образ этой «покрытки», первой любви Шевченко, сыграл, как известно, немалую роль в его творчестве.

„История русской литературы“ М. Горького

И. Сергиевский

Подготовительные материалы к популярной истории русской литературы, задуманной Горьким в период жизни на Капри, были известны до сих пор лишь в отдельных, более или менее обширных извлечениях, публиковавшихся в различных периодических изданиях. Теперь эти материалы изданы полностью. Нельзя не порадоваться появлению этого издания. По поводу работы Пушкина над историей Пугачева было как-то сказано, что умный дилетантизм оказывается часто значительно глубже и проницательнее академической учености. Эти слова полностью подтверждаются и настоящими материалами. Конечно, это труд не цехового ученого. Уже одни фактические погрешности, нередко встречающиеся в публикуемых материалах, говорят о том, что с критериями академической учености к ним подходить не следует. Специалист, конечно, не стал бы воспроизводить более чем сомнительного свидетельства о том, что, прочитав «Деревню» Пушкина, Александр I просил поблагодарить поэта за добрые чувства, внушаемые его стихотворением. Специалист не стал бы утверждать, что Пушкин боялся личного знакомства с Белинским, вопреки данным, исходящим от самого поэта и свидетельствующим совсем об обратном: о том, что Пушкин стремился к этому знакомству. Перечень такого рода погрешностей мог бы быть весьма пространным. Мы не продолжаем его потому, что прежде всего надо учитывать



А. М. Горький (1906).

черновой характер публикуемых материалов: совершенно очевидно, что если бы работа Горького над ними перешла в следующую стадию, — в стадию писания книги, количество их сильно сократилось бы. А главное, потому, что, конечно, не этими погрешностями определяется значение материалов.

Да, цеховым историком литературы Горький не был. При всем том значение его историко-литературных экскурсов и характеристик для современной

М. ГОРЬКИЙ. — История русской литературы. М. Гослитиздат (Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Архив А. М. Горького. Т. I). Стр. XII+340. Тираж 20 000. Ц. в переплете 8 руб. 50 коп.

историко-литературной мысли поистине огромно. Надо ли говорить о том, что та борьба с социологической схоластикой и вульгаризаторством, исключительно плодотворные результаты которой неоспоримы, своими успехами в очень большой степени обязана Горькому. Те его положения, которые играли роль своего рода опорных пунктов в этой борьбе, развиты в подготовительных материалах к истории русской литературы часто более широко и полно, чем в его теоретических выступлениях последнего времени. «Романист всегда шире своих тенденций потому именно, что для вящей убедительности данной идеи, защищаемой им, он принужден ставить эту идею в круг идей враждебных и таким образом, хотя и в искаженной форме, но он знакомит нас с тем, что, может быть, и враждебно лично ему... роман, являясь могучим и в высшей степени убедительным средством пропаганды классовых тенденций, в то же время заставляет писателя, вопреки его намерениям, отмечать попутно тенденции и факты, чуждые и враждебные тем, кои проповедует он сам как идейный представитель той или иной общественной группы». Это писалось почти за двадцать лет до начала широкой теоретической разработки вопроса о соотношении миросозерцания писателя и его творческого метода, — разработки, толчок к которой был дан опубликованием известного письма Энгельса к Маргарэт Гаркнес.

В выступлениях последних лет, в частности — в докладе на первом съезде советских писателей, Горьким было выдвинуто еще одно положение, имевшее очень существенное значение в борьбе с догматами вульгарной социологии: о преувеличенности ходячих представлений об исторической роли буржуазии в творчестве культурных ценностей. В публикуемых материалах имеется целый ряд интересных соображений, развертывающих и уточняющих это положение. «Основной характер хищнической психики буржуазии сказывается и в области строения идеологии с той же силой, как в области промышленной деятельности», — пишет здесь Горький. «И там, и тут мы видим поспешное, корыстное стремление поскорее использовать данный материал, будут ли это недра земли или идеи — в целях узко классовых. Буржуа не чувствует своей связи с миром, с человечеством, национальные капиталы враждебны друг другу, только пролетариат способен воспитать в себе интернациональную душу, познать самого себя, как владыку мира, и построить жизнь на реальных началах братской борьбы с природой за власть над силами ее. Торопливость обобщений, необходимо вытекающая из стремления буржуазии идеологически оправдать свою власть, делает эти поспешные обобщения неустойчивыми — все равно, носят ли они характер материалистический или идеалистический. Строя свои теории, буржуа-философ и ученый не может пользоваться всею массой общечеловеческого опыта, он вынужден выбирать факты, объективность враждебна ему. Он не смеет сказать — «я этого не знаю», ибо такое сознание понизило бы его авторитет, он говорит: «это никем не познано и никогда не будет познано». Его идеалы немедленно превращаются в его идолов, по натуре своей он раб и на идею смотрит не как на орудие познания, но как на средство духовного порабощения классов, экономически подчиненных ему».

Высокий уровень теоретических представлений Горького о литературе, определявших общее направление его работы, позволил ему дать ряд очень острых и убедительных характеристик отдельных писателей, отдельных литературных явлений. Замечательна развернутая здесь Горьким оценка Пушкина, уже известная, впрочем, по ранним выборочным публикациям: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами, — все дворянское, все временное — это не наше, это чуждо и не нужно нам. Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону, — именно тогда пред нами и встанет великий русский народный поэт... поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы... на примере его творчества мы видим, что писатель, богатый знанием жизни, так сказать, перегруженный опытом, в своих художественных обобщениях выходит из рамок классовой психики, возвышается над тенденциями класса — и объективно рисует нам этот класс с внешней стороны как неудачную и нестройную организацию части исторического опыта, с внутренней — как психику своекорыстную, полную непримиримых противо-

речий». Но замечательна у Горького не только эта итоговая, обобщающая оценка пушкинского наследия. Как бы предвосхищая выводы позднейших исследователей, писавших без малого двадцатью годами позже него, Горький, касаясь вопроса о сословных теориях Пушкина, утверждает, что он «вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы». Рассуждая в том же направлении, что и Плеханов, но, повидимому, судя по отсутствию соответствующих ссылок, независимо от него, он приходит к выводу, что пушкинские филиппики против черни никак не носят антинародного характера, а обращены против окружавшего поэта светского общества. Он проницательно толкует последнюю дуэль Пушкина, как заранее организованное политическое убийство, говорит о том, как независимое поведение Пушкина вызвало «непримиримую злобу к поэту; ловкие люди искусно раздували общее недоброжелательство к нему, наконец, против него была пущена в ход клевета и — вскоре его застрелили».

Известно последовательно отрицательное и, пожалуй, не чуждое иногда некоторой упрощенности отношение Горького к Достоевскому. Но в своих историко-литературных конспектах он пишет о Достоевском: «Вспомните ту же Салтычиху, генерала Измайлова, помещика Кашкарова и всех этих людей, которые прижигали крепостных каленым железом, вырывали у женщин груди и пороли, пороли, пороли. Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей душе память о всех этих муках людских и отразил эту страшную память — этот человек Достоевский».

Утверждая, что честное отношение к жизненной действительности является важнейшим и необходимым признаком подлинного искусства, что оно перестает быть достойным своего имени тогда, когда оно «идет на привязи публицистики... становясь для действительности прокрустовым ложем», Горький иллюстрирует это положение на примере либерально-народнической беллетристики: «В стремлении показать, что община является единым средством спасения русского народа, необходимо было, конечно, переделать самый народ, одеть его сообразно требованиям теории. И, конечно, дикие индивидуалисты, мужики Успенского Николая, Решетникова и других, должны были уступить место новым мужикам — миролюбам, общинникам, мужичкам-коллективистам. Российский интеллигент, в лице Златовратского, Засодимского, Нефедова, Ивановича и отчасти Каронина, немедленно сотворил мужика, какого требовало учение Михайловского — Лаврова — Воронцова...»

Конечно, не все интересно и попросту не все верно в построениях Горького. Вовсе ошибочно понимание Радищева как основоположника дворянского либерализма. Вовсе ошибочно утверждение, что «социально-политическая роль декабристов была ничтожна... и что даже их культурное значение сомнительно; во всяком случае оно было не глубоко». Неверно отношение ко всему гоголевскому наследию, за исключением «Ревизора» и «Мертвых душ», как к чему-то «выдуманному, болезненному, гнилому». Неверно отнесение ряда крупнейших русских писателей прошлого, в том числе Тургенева и Толстого, к той линии литературного развития, в начале которой стоят имена Карамзина и Жуковского, а в конце имя Федора Сологуба. Каким-то чистым недоразумением является отнесение Герцена к числу «проповедников гуманизма, христовой морали равенства господина и раба, апостолов терпения и кротости», опровергаемое тем, что говорится о Герцене в другом разделе горьковских конспектов.

Эти ошибки и ложные толкования еще раз подчеркивают, что к горьковским материалам по истории русской литературы надо относиться именно как к материалам подготовительным, черновым, в которых возможны противоречия и несогласованности, в которых многие компоненты целого подлежали еще дополнительному обдумыванию, правке, шлифовке. Читателю, невооруженному необходимым историко-литературным багажом, особенно важно знать и учитывать это, когда он будет знакомиться с настоящей книгой.

В этом смысле редактора книги, подготовлявшие к печати горьковскую рукопись, — И. П. Ладыжников и М. М. Юнович, — поступили совершенно правильно, сохранив все присущие ей черты черновика, введя квадратные скобки для редакторского текста, воспроизводя в сносках все авторские зачеркивания и т. п. Вообще с точки зрения эдиционной издание должно быть оценено как в высшей степени тщательное и добросовестное.

Комментарий носит почти исключи-

тельно библиографический характер: он посвящен, прежде всего, раскрытию и расшифровке тех источников и пособий, которыми оперировал Горький, работая над конспектами.

Книга обозначена как первый том архива Горького, т. е. представляет собой начало целой серии публикаций, посвященных неизданному наследию писателя. За этим первым томом, естественно, с большим нетерпением ожидаешь последующие.

„Жизнь Чернышевского"

Н. Богословский

Содержание этой книги вовсе не соответствует ее названию. О жизни Чернышевского в ней говорится очень мало, и говорится лишь то, что давно известно по книгам прежних исследователей. О Чернышевском существует количественно большая литература. Отдельные стороны его деятельности освещены достаточно детально. Менее всего, пожалуй, изучена личная жизнь Чернышевского. Правда, она не богата событиями. Поэтому задача его биографа представляется особенно трудной. Он должен воссоздать историю очень сложной внутренней жизни, проследить, как складывался духовный облик Чернышевского, показать все проявления этой своеобразной и глубокой натуры. Дневники и письма Чернышевского и мемуары его современников дают в этом плане богатый и еще мало обследованный материал.

Работа тов. Новича не вносит ничего нового в литературу о Чернышевском. В ней нет и следа пытливого изучения источников. Биография освещена бегло и скупо. Непростительно мало говорится в книге о пребывании Чернышевского в университете, о педагогической его работе в Саратове, о начале его литературной деятельности. Не только о друзьях молодого Чернышевского (И. Введенский, Лободовский, А. Михайлов), но даже и о жене его читатель ровным счетом ничего не узнает из книги, носящей название «Жизнь Чернышевского». Более или менее подробно и сносно рассказано лишь о процессе Чернышевского (по известной книге М. Лемке) и о пребывании его в Вилюйске. Тов Нович уделяет внимание преимущественно изложению взглядов вождя шестидесятников на литературу, искусство, историю, философию и т. п. Немногие страницы, посвященные биографическим фактам, буквально растворяются в море цитат из сочинений Чернышевского по всем этим вопросам. Цитатами тов. Нович пользуется непомерно широко. Но это еще полбеды. Хуже другое — книга написана явно наспех (дань «юбилейной горячке»), небрежно, безжизненным, сухим языком плохих фельетонных подвалов. Мы то и дело наталкиваемся в ней на самые трафаретные эпитеты, на трескучие фразы, за которыми ничего не кроется. Сколько общих мест и назойливых повторений можно было бы устранить из книги, чтобы за счет их внести в нее необходимые биографические сведения!

Тема книги тов. Новича очень серьезна. Но, как это ни странно, книга сразу настраивает на веселый лад. Виною тому — перо тов. Новича, приверженность его к торжественным повторениям затверженных истин и пустопорожним разглагольствованиям.

Внешне, по оглавлению хотя бы, все обстоит благополучно. Детство. Юность. Петербург. Редакция «Современника». Философские взгляды Чернышевского. Эстетика. Литературная критика. Чернышевский-публицист и пр. Но, вчитываясь в книгу, начинаешь замечать, что каждая глава (как и вся книга в целом) построена по одному способу. Два-три слова от автора, затем пространная цитата или пересказ отрывков из сочинений Чернышевского, опять авторская ремарка, дальше — пространная цитата и т. д.

Цитаты и пересказ скрепляются словами: «Чернышевский писал», «записывал», «говорил», «указывал», «отвергал», «намекал», «подчеркивал», «требовал», «возражал», «защищал», «полагал», «понимал».

И опять огромные цитаты, и те же глаголы в настоящем и прошедшем времени, сдобренные всевозможными наречиями: «резко критиковал», «глухо ука-

---

И. НОВИЧ.— Жизнь Чернышевского. М. Гослитиздат. 1939. Стр. 335. Тираж 15 000. Ц. 6 руб. 50 коп.

зывал», «прямо указывал», «резонно замечает», «зрело записывает» (!), «горько шутит», «гневно восклицает» и т. д. Мы не потрудились точно подсчитать те очень немногие страницы, на которых не встретили соединения всех перечисленных глаголов, вкрапленных в цитаты и пересказ, но утверждаем, что статистическая таблица, иллюстрирующая этот прием сцепления цитат, выглядела бы примерно так: «Чернышевский указывал» — 160 раз, «Чернышевский писал» — 200 раз, «отмечал» — 120 раз и т. д.

Точно такое же удручающее однообразие мы видим и в определениях, данных И. Новичем Чернышевскому. Со страницы на страницу переходят слова: «гениальный русский мыслитель», «великий русский просветитель», «гениальный предшественник русской социал-демократии», «самый крупный мыслитель», «крупнейший русский мыслитель», «великий мыслитель», «старый (!) великий мыслитель», «глубоко образованный», «глубоко знающий», «подлинный», «последовательный», «боевой». Порой все определения выстраиваются в ряд, и мы читаем: «материалист в философии, утопический социалист, демократ, революционер и республиканец» (120).

Даже прощаясь с читателем, тов. Нович в конце книги не забывает в сотый раз сказать ему, что Чернышевский был «гениальным русским революционером-демократом, мыслителем, писателем и ученым».

При рассмотрении литературных взглядов Чернышевского тов. Нович опять-таки, избрав себе два излюбленных наречия, все время пользуется ими и порознь и вместе. Примеры: «Чернышевский высоко ценил Лессинга» (152), «Чернышевский глубоко ценил поэзию Шиллера» (152), «Точно так же глубоко ценил... романы Э. Сю» (153). Впрочем, несколькими строками ниже говорится, что Чернышевский ценил его романы и «высоко». «Чернышевский... глубоко положительно оценил» Щедрина (161). «Очень высоко оценивал творчество Тургенева» (162). На этой же странице, для разнообразия: «Чернышевский, глубоко ценя литературный талант Тургенева...»

«Высоко оценивая поэзию Огарева...» (162). «Высоко положительно оценив...» Щедрина (164). «Он высоко ценил поэзию Огарева... в которой... отмечал глубокое содержание...» (165). «Чернышевский... должен был глубоко ценить... поэзию Некрасова» (209). «Точно также Чернышевский глубоко ценил и поэзию... Шевченко» (166).

Словом, как правильно замечает сам тов. Нович, «глубоко положительной высокой оценке роли художественной литературы в умственной жизни общества Чернышевский никогда не изменял» (145).

Таков же, по Новичу, был и подход Чернышевского к политическим событиям. Еще до выступления в литературе, будучи студентом, он «оценил европейские революционные события высоко и глубоко» (34).

Невольно вспоминаются слова одного из героев романа Писемского «Люди» сороковых годов»: «Вон, у меня брат, действительно, подписывался в письмах к матушке, «примите мое глубочайшее высокопочитание», так что я, наконец говорю ему: — мой милый, то что глубоко, не может быть высоко».

Мы уж не говорим о том, что «беллетристика Чернышевского колоссально умна, глубоко проблемна, в самом высоком смысле этого слова» (306) что сам Чернышевский «как глубокий критик капитализма... отчетливо понимал глубочайшие экономические... противоречия» (118) и т. д.

Тов. Нович словно боится хотя бы на минуту расстаться со всеми этими жалкими подпорками. Эпитеты «глубочайший», «важнейший», «виднейший», «ценнейший» приложимы у него ко всему. Он считает возможным говорить даже о «важнейших (!) литературных взглядах», о «важнейших философских взглядах» Чернышевского (85). Мы лишены возможности привести здесь яркое повествование Новича о расхождении между «либерально-дворянским» и «разночинно-революционным» «лагерями».

На стр. 61—65 автор беспомощно топчется на месте, десятки раз повторяя что эти два лагеря (у Новича они все время идут с полным титулом) враждовали между собой.

Весьма живописно рассказывает автор о «передовых людях» и «передовых идеях» того времени. Но сначала о великих: «наши духовные предшественники великие русские просветители-революционеры, стояли на уровне крупнейших мыслителей всех стран домарксовского периода» (11). Что это за страны домарксовского периода?

Более грамотно эта же, не блещущая оригинальностью, мысль (великие... на уровне крупнейших) изложена на стр. 26: «У России уже были Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский... великие представители литературы... стоящие в ряду лучших деятелей мировой культуры». Великие в ряду лучших. Просто и ясно.

«Передовые материалистические учения захватывали передовых русских мыслителей прошлого века». Удивительно! Созвучную мысль встречаем и на стр. 26: «для передовой молодежи сороковых годов оно (слово Белинского. — *Н. Б.*) явилось неофициальным, но мощным университетом, распространявшим в обществе передовые идеи времени».

Сложнее обстояло дело с молодым Чернышевским, который понял, что «передовому мировоззрению он на университетских лекциях не научится» (28). Но кто же учится мировоззрению, хотя бы и передовому? Все же Чернышевский «ищет путей выработки передового мировоззрения» (33), и эта «самостоятельная работа Чернышевского над выработкой (работа над выработкой! — *Н. Б.*) своего передового мировоззрения протекала исключительно живо и радостно. Это был настоящий творческий, полный чувства процесс познания», — с умилением пишет тов. Нович.

Например: «В области литературы Гоголь и Лермонтов представляются Чернышевскому великими писателями». Непонятно, правда, в какой еще области они могли представляться Чернышевскому великими?

Диссертацию Чернышевского одобрительно встретила «революционно настроенная передовая молодежь. Для нее трактат Чернышевского явился новым, важным и правильным словом в науке об искусстве и литературе, занимавших (о ком, о чем идет речь?— *Н. Б.*) тогда передовые позиции» (128).

Захватывающе интересны страницы, посвященные разбору романа «Что делать?»

«Передовая молодежь... повсеместно читала... «Что делать?» «Роман... учил передовую молодежь жить». «Для русской передовой молодежи тех лет роман... явился подлинным откровением» (292). «Роман Чернышевского рассказывал читателю о явившихся в русской жизни эпохи шестидесятых годов новых передовых людях...» (294). «Чернышевский своим романом звал молодежь становиться передовыми людьми» (295). И в романе «Алферьев» Чернышевский «рисует характерные черты общественного подъема эпохи шестидесятых годов и изображает демократа Алферьева, принадлежавшего к лагерю передовых людей эпохи».

Когда французского писателя Сен-Пьера упрекали в том, что он иногда повторяется, и приводили ему наизусть примеры, он отвечал так: «я вижу, что вы хорошо запомнили мои слова. Значит, я достиг своей цели».

Вполне ли убежден тов. Нович, что его «повторения» также должны быть сохранены в памяти читателя?

Язык Новича не гибок, не выразителен и не всегда грамотен. Правда, с привычными формулами автор справляется довольно легко. Но все лирические отступления и попытки приукрасить сухое повествование неудачны, неубедительны. Прежде всего чувствуется, что ради красного словца автор готов пожертвовать чем угодно, и смыслом и фактами. Несколько примеров:

«Были люди, — разночинцы, бедняки, демократы по всем условиям своей жизни, — из далеких углов добиравшиеся до университетских городов кочегарами на пароходах. Это еще не было массовым явлением (!), но это уже не было и совершенно исключительным случаем, вроде биографии Ломоносова».

Иной читатель, не дай бог, подумает, что Ломоносов добрался до университетского города кочегаром. Ведь никак иначе эту фразу понять нельзя.

«Ехали целый месяц на лошадях. Юноша вез с собою более двух пудов книг; больше, в сущности, ему нечего было везти, кроме книг, да своего страстного желания учиться» (сравни у самого Чернышевского об этой поездке: «Провизию, которую мы с собой набрали, достало бы в оба конца, туда и обратно, в Петербург»).

«Дорога все тянулась — длинная, грязная. Тут же, в повозке, Чернышевский продолжал готовиться к университетским экзаменам, читал, писал письма домой». Перед читателем встает картина: повозка тащится по длинной, грязной дороге. Чернышевский, комфортабельно расположившись в повозке, готовится к экзаменам, пишет письма домой и т. п. Между тем сам Чернышевский писал: «Толчки, получае-

мые со всех сторон... не позволяют ни о чем думать, кроме еды и дороги».

«Чаяния молодого Чернышевского, взлелеянные в духоте саратовской семинарии и под теплым, но низким кровом родительского дома, сбылись» (25). Сказано пышно и «образно», но не совсем точно. Родительский кров был не так уж низок.

«Он учил сыновей из далека своей ссылки. Только это творчество (!) Чернышевского в Вилюйске выходило за пределы его каморки» (стр. 281).

Но почему каморки? Из тех же писем Чернышевского, которые Нович называет здесь творчеством, он мог бы узнать, что Чернышевский в Вилюйске был поселен как раз в просторном помещении, предназначавшемся для пяти человек заключенных. «Почему я расположился так просторно? Потому, что дом (т. е. острог. — *Н. Б.*) стоял пустой, и если бы я не поселился в нем, оставался бы пустым...» («Письма из Сибири». Т. I, стр. 33).

Внимательное отношение к такого рода деталям — прямая обязанность биографа. Нельзя о них писать сплеча, наугад, не раздумывая. Читатель сразу теряет доверие к автору.

Порою перо совершенно не повинуется тов. Новичу. Он хочет написать одно, а получается у него совсем другое. «Процесс Чернышевского был не «ничтожной подробностью» только, а ярчайшим эпизодом классовой борьбы», — пишет он, желая сказать в действительности, что процесс был вовсе не «ничтожной подробностью».

«Здесь жили... якуты, зверски угнетавшиеся царизмом и потому стоявшие еще тогда на ступени примитивнейшего... развития...» Между тем тов. Нович хотел сказать, что тогда якуты стояли еще на ступени примитивнейшего развития.

Встречаются совершенно загадочные фразы. «Жизнь народа и его развитие определяют значение литературы для человечества» (стр. 30).

«Оно (просветительство. — *Н. Б.*) было органически связано с идеалом передовых общественных форм, с революционной борьбой и диктовало просвещение отсталых народных масс» (стр. 109).

«Нельзя согласиться с Плехановым... рассматривавшим его (Чернышевского) едва ли не только как идеалиста».

«Ревностно рылся он в книгах и записывал первые строки, которым учил его отец» (17). В том-то и дело, что строкам не учат.

Любопытный штрих, характеризующий работу не только редактора, но и корректора книги тов. Новича. На стр. 271 автор явно описался, цитируя статью Ляцкого. Полемизируя с ним, Нович упоминает о «малейшем» (вместо «полнейшем») равнодушии Чернышевского к своей ссылке. Случайное это искажение совершенно обессмыслило возражение Новича Ляцкому, но никому из «работавших» (с «полнейшим равнодушием») над книгой эта бессмыслица даже и не бросилась в глаза.

Об Антоше Чехонте и Антоне Чехове

(К 80-летию со дня рождения А. П. Чехова)

А. Роскин

Когда в июле прошлого года советская печать отмечала тридцать пятую годовщину смерти Чехова, мысль невольно обращалась прежде всего к последним годам жизни Антона Павловича, к Ялте и Баденвейлеру, к «Вишневому саду» и к «Невесте», к предсмертным замыслам Чехова. Нынешняя юбилейная дата прежде всего напоминает о детстве и юности Чехова, о Таганроге, о том пути, который привел «редактора-издателя» рукописного журнала «Заика» к московской юмористической прессе, и далее — «газетчика по смешной части» к вершинам художественного творчества.

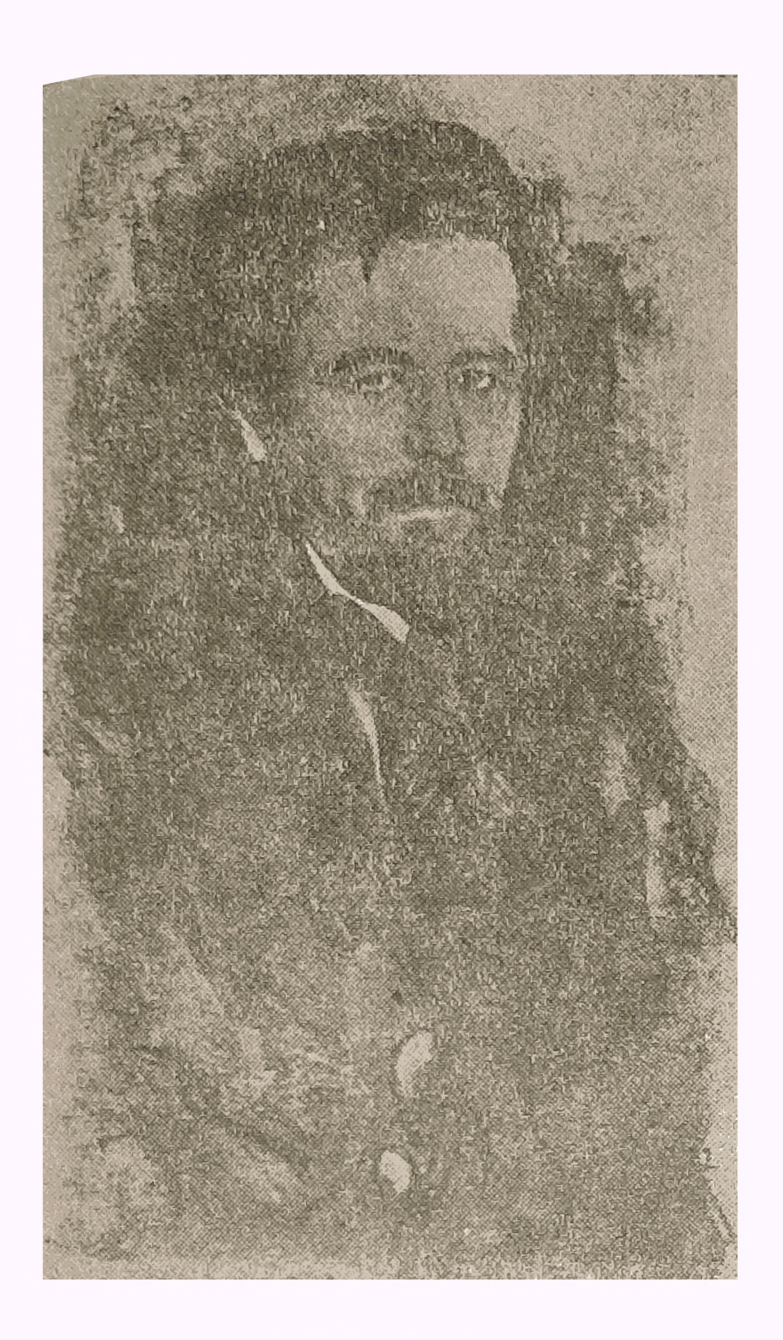
Очень часто случалось так, что писатель, написав автобиографию, в известном смысле тормозил работу биографов. Не потому, что эта автобиография была полна неточностей, умолчаний и искажений действительности и, таким образом, сбивала с толку исследователей, а как раз благодаря своим достоинствам. Во-первых, писатель как бы подавлял биографов своим авторитетом — кому же лучше знать биографию, как не самому герою этой биографии! Во-вторых, писатель как бы подавлял своим художественным даром. В результате исследователи о т с т у п а л и перед автобиографией. Так, например, произошло с Герценом: написав «Былое и думы», он словно сам лишил себя своего биографа. Может быть, по этим же причинам у нас все еще нет большой, фундаментальной биографии Горького: многое описано самим Горьким в его автобиографической трилогии и следующем за нею цикле автобиографических рассказов с такой силой и полнотой, что даже самому осведомленному биографу нередко остается, касаясь молодости Горького, ограничиваться одним только комментарием к таким повестям, как «Детство», «В людях», «Мои университеты».

В какой-то мере Чехов тоже сам задержал работу биографов. Правда, у Чехова нет ни автобиографии, ни таких произведений, в которых автобиографический элемент был бы совершенно бесспорным. Но Чехов написал а в т о б и о г р а ф и ю в п и с ь м а х: известное шеститомное собрание чеховских писем давно уже заменило все еще недостающую нам полную биографию писателя. И любопытно проследить, как биографы Чехова незаметно для самих себя подпадали под власть этой автобиографии в письмах. Писал Чехов в таком-то году много писем — и мы видим, что этот год у биографов описан весьма обстоятельно; писем Чехова от такого-то года сохранилось мало — и мы видим, что этот год у биографов описан в двух-трех словах; писем Чехова от такой-то эпохи совсем не сохранилось — и биографы ограничиваются ссылкой на «белое пятно», существующее-де в биографии Чехова.

Таким «белым пятном» является почти весь таганрогский период биографии Чехова, особенно те годы жизни Чехова, когда, оставленный семьей, он, живя один в Таганроге, заканчивал свое учение в гимназии.

Но это «белое пятно», повторяем, порождено прежде всего обаянием и живой поэзией чеховских писем: по сравнению с ними всякий иной документальный материал казался недостаточно значительным. Письма Чехова как бы слегка ослепляли, все лежавшее рядом с ними плохо замечалось и различалось.

А этот лежавший незаметно в тени



А. П. Чехов.
Портрет работы В. Серова

материал был — и довольно обширный. Биографы говорили о «белом пятне», между тем как в их распоряжении имелись совершенно не обследованные или, во всяком случае, никем не введенные в биографическую литературу документы архива А. П. Чехова. Мы имеем в виду переписку членов семьи Чеховых между собой и со своими родственниками. Эти документы, подводя более прочный фундамент под некоторые факты биографии Чехова, в то же время вносят много совершенно новых и интереснейших подробностей в историю чеховской юности.

К сожалению, у нас нет возможности в настоящей статье останавливаться на этих подробностях. Они заслуживают того, чтобы быть предметом специальной работы. Здесь же нам хочется лишь подчеркиуть одно, на наш взгляд весьма существенное, обстоятельство.

Как известно в литературе о Чехове существуют две версии, два различных толкования первых глав чеховской биографии. В серии очерков старшего брата Чехова — Александра Павловича — детство писателя рисуется в мрачных красках, очерки эти полны указаний на ничтожность среды, окружавшей Чехова в годы его детства и отрочества, на власть мещанских предрассудков в семье Чеховых, на низкий уровень ее культурных интересов, на трагикомические условия обучения в греческой школе, на невежество гимназических педагогов и жестокость всего гимназического режима в целом. Значительно иную картину изображал в своих биографических статьях и мемуарах младший брат Чехова — Михаил Павлович. Он описывал семью Чеховых как типичную провинциальную интеллигентную семью среднего достатка, живущую довольно высокими культурными интересами. Литературные увлечения, музыка, французский язык, нежные чувства, идиллические пейзажи и уютные жанровые сцены — таков основной фон детства и юности Антона Чехова по свидетельству его младшего брата.

И здесь следует сказать, что неизученные до сих пор архивные материалы склоняют нас скорее на сторону Александра Чехова, чем на сторону Михаила Чехова. Конечно, в отдельных штрихах Александр Чехов ошибался, но он не ошибался в основных тонах той картины, которую он рисовал в своих биографических очерках: менее всего детство и юность Антона Чехова похожи на идиллию. Невежество, грубость, деспотизм, ханжество, мелочность интересов и пошлость вкусов, унизительная нищета людей, для которых богатство было главной целью и смыслом жизни, — такова подлинная атмосфера, в которой протекало детство будущего писателя.

Было бы нелепо полагать, что, напоминая об этих неизученных архивных материалах, мы преследуем цель «развенчать» Чехова, «разоблачить» его, подчеркнуть его «чуждое происхождение». Все мы хорошо еще помним такого рода «анкетные» подходы к ряду великих русских писателей, начиная с Пушкина и кончая Горьким. К счастью, подобные работы в литературоведении давно уже оценены по заслугам. Нет, не ради тенденциозного и плоского «разоблачения» великого писателя отмечаем мы теневые стороны окружения Чехова-

ребенка, а ради установления правды. А правда эта не только не бросает тень на Чехова, но, наоборот, еще более подчеркивает нам огромное внутреннее содержание пройденного Чеховым жизненного пути «таганрогского мещанина»—как значилось в паспорте молодого Чехова — к высотам культуры и творчества. Биография Чехова по своему внутреннему существу — биография очень напряженная, это биография человека, чья жизнь была заполнена непрестанной работой над собой, человека, относившегося к себе с огромной требовательностью.

Облик Чехова-художника не может быть до конца понят, если упускается из виду эта сила чеховского отталкивания от «таганрогского», от «чоховского» (так шутливо-презрительно — «Чоховыми» — называл Антон Павлович семью своего дяди). И в данном случае речь идет не только о мировоззрении писателя, не только о руководящих идеях его творчества, но и о некоторых самых, так сказать, сокровенных чертах чеховских художественных вкусов, чеховского стиля. Так, например, знакомство с архивными документами позволяет нам лучше и глубже понять истоки чеховского новаторства, его борьбы за свободную литературную форму. Исток этот — в ненависти ко всякого рода языковым закостенелостям, к «непоколебимым», как будто на веки-вечные установленным, оборотам канцелярско-чиновничьего языка. А исток этой ненависти — в пристрастии к закостенелостям всех тех, кто олицетворял для Чехова-подростка бездушие и деспотизм: ведь именно такой испещренный закостенелостями язык был высоким, «идеальным» стилем отца Чехова — Павла Егоровича (смотри его письма и составленные им документы!), учителей Чехова, разного рода авторитетов, именовавшихся «старшими». Чехов рос в среде, в которой очень уважали официальные, «принятые» формы письменности, как некоей превосходно разработанной системы лицемерия. И этот своеобразный культ казенной словесности, очень характерный для мещанской среды, рано развив в Чехове-ребенке чувство формы, столь же рано развил в нем отвращение к общепринятой форме, как символу всего жестокого, давящего, мертвящего.

Начальная школа жизни, которую прошел Чехов, та школа, классами которой явились обывательский домик о трех окнах на улицу, бакалейная лавочка, провинциальная гимназия, сырые подвалы московских трущоб, — была трудной школой. Она, без сомнения, рано подорвала физические силы будущего писателя, но эта же школа раскрыла перед Чеховым разнообразный мир русских людей, погрузила в самую гущу российской действительности.

В литературе о Чехове есть несколько цитат, которые биографами и исследователями считаются совершенно обязательными. Если заходит речь о стиле Чехова, то совершенно непременно приводится цитата из чеховского письма о горлышке бутылки, которое блестит при лунном свете и, таким образом, заменяет подробное описание ночного пейзажа. Если заходит речь о процессе творчества молодого Чехова, то совершенно непременно приводится цитата из воспоминаний В. Г. Короленко о том, как, взяв в руки первую попавшуюся на глаза вещь — пепельницу, Чехов сказал Владимиру Галактионовичу: «Хотите — завтра будет рассказ... заглавие «Пепельница». Испытываешь невольную досаду, даже обиду за Чехова, когда видишь, с какой автоматичностью выскакивают эти цитаты чуть ли не во всех статьях о Чехове. Боимся, что профессор Серебряков из «Дяди Вани» тоже очень любил в своих жеваных статьях о великих писателях одни и те же привычные, наизусть заученные цитаты!

К сожалению, замечательное высказывание Чехова о самом себе в известном письме к Суворину, слова о молодом человеке, который «выдавливает из себя по каплям раба» и который, «проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая», успели тоже превратиться в такую автоматически выскакивающую цитату. Ряд исследователей и мемуаристов относил «прекрасное утро» к зрелым годам жизни Чехова. Однако для нас начальная фаза этой борьбы Чехова с «рабской кровью» в самом себе, конечно, нисколько не менее важна, чем фаза конечная. А, может быть, даже и важнее: потому что Чехов, начавший эту борьбу с собой, эту работу перевоспитания самого себя, по существу уже был очень далек от той мещанской, застойной среды, к которой он еще внешне принадлежал. В этом смысле «прекрасное утро» наступило для Чехова гораздо раньше, чем он это

сам свидетельствовал. Полагающие иначе пусть снова перечтут первое же дошедшее до нас письмо Чехова — к своему младшему брату Михаилу:

«Почерк у тебя хорош, и во всем письме я не нашел у тебя ни единой грамматической ошибки. Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность».

Во всей обширной чеховской переписке, такой богатой умом, душевностью, веселостью, поэзией, мало есть строк, которые так глубоко западали бы в душу читателя, как эти строки. Нет, не мог это письмо написать человек, если бы в жилах его действительно текла рабская кровь! А когда Чехов писал это письмо, ему было шестнадцать лет. «Прекрасное утро» для Чехова уже наступило: ведь не тогда он почувствовал себя человеком в настоящем, высоком значении этого слова, когда «выдавил» из себя последнюю каплю рабской крови, а наоборот, потому-то и стал выдавливать из себя последние капли, что еще в юности осознал себя не «таганрогским мещанином», не одним из «Чоховых», а человеком.

Начинающий Чехов вступил в литературу как юморист, автор смешных коротких рассказов, метких пародий и маленьких фельетонов. Через много лет, редактируя собрание своих сочинений, Чехов отнесся к работе Антоши Чехонте с чрезвычайной строгостью: он забраковал буквально сотни своих произведений, в том числе и такие, какие без всякого преувеличения можно назвать шедеврами.

Если бы кто-нибудь другой написал бы такую вещь, как повесть «Огни», — имя автора этого произведения, без сомнения, осталось бы в литературе даже и в том случае, если бы этот писатель ничего другого больше бы и не создал.

Между тем Чехов не удостоил «Огни» даже включением в собрание сочинений.

В этом сказалась высокая требовательность зрелого Чехова к самому себе.

Под влиянием этой чрезмерной авторской строгости критики и исследователи слишком отделяли Антошу Чехонте от Антона Чехова, слишком противопоставляли их друг другу, разносили чеховский юмор и чеховскую лирику по двум, будто бы резко отличающимся друг от друга, периодам творчества Чехова.

Между тем не смех и печаль, а молодость и зрелость разделяют чеховское творчество на два периода. В сущности никогда, даже в самые ранние годы своей литературной деятельности, Чехов не был тем беззаботным весельчаком, только юмористом, каким он изображается в иных мемуарах. Достаточно напомнить «Ваньку», «Устрицы», «Тапера», «Маску» — рассказы, появившиеся на страницах юмористических журналов за подписью Чехонте.

Очень часто писавшие о молодом Чехове упрекали его в неуважении к своему читателю. Это совершенно справедливо. Но, упрекая в этом Антошу Чехонте, следовало бы отметить и другую черту — презрение Антоши Чехонте к читателю юмористических журналов, то презрение, которое не искажало, а охраняло чеховский талант. А это презрение Чехов почувствовал едва начавши печататься. В одном из самых первых своих рассказов — «Перед свадьбой», написанном еще в 1880, т. е. в дебютном для себя году, Чехов с нескрываемой иронией писал о женихе, коллежском регистраторе господине Назарьеве. У этого человека ничего не выражающее лицо, от него пахнет яичным мылом и карболкой, он считает себя страшным волокитой, больше всего любит сапоги со скрипом, свой собственный почерк и... журнал «Развлечение». Но ведь это был журнал, в котором усердно сотрудничал сам Чехов, и, высмеивая господина Назарьева, Чехов высмеивал своего собственного читателя!

Внутренняя близость, неотделимость творчества Антоши Чехонте и Антона Чехова теперь уже очевидна. Но если связь настроений и идей приблизительно прослежена, то связь искусства, мастерства прослежена еще далеко не достаточно. Все еще кажется, будто бы искусство Чехова заменило умение Антоши Чехонте. Многие элементы чеховской поэзии представляются каким-то чудом, внезапнс в знаменательные для Чехова 1885—1886 годы появившимся на месте чеховского остроумия.

Можно с уверенностью сказать, что будущие исследования покажут глубокую связь литературных приемов Антоши Чехонте с самыми важными, основными элементами стиля Антона Чехова. Более того, исследования эти покажут, что новаторство Чехова в значительной мере определилось «юмористическим происхождением» Чехова. В настоящей статье мы лишены возможности достаточно подробно остановиться на этом интереснейшем вопросе. Ограничимся только тем, что приведем пример, касающийся новаторства Чехова в области искусства словесного пейзажа. Что больше всего поразило современников в чеховской «Степи»? Непринужденность, смелость описаний. Но откуда взялась эта непринужденность? Прочтите внимательно краткие описания природы в рассказах Антоши Чехонте, — хотя бы это описание метели в «Ведьме»:

«...В поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто».

Пейзаж как будто бы дан юмористический. Но устраните из этого описания налет развязности, некоторую грубость красок, и из-под юмористического описания проступит импрессионизм «Степи», чеховская лирическая поэзия, своеобразно вышедшая из чеховской юмористической поэзии.

Говоря о переходном периоде в творчестве молодого Чехова, мы намеренно остановились на чеховском пейзаже.

Тема природы, войдя в чеховское творчество, придала ему новую глубину и серьезность.

«Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы», — иронически писал Чехов в рассказе «Приданое». Сам он уже в детские годы умел чувствовать природу с той душевной силой, с какой переживают важнейшие события личной жизни. Но именно поэтому так долго не удавалось Чехову выразить это чувство — ведь путь Антоши Чехонте был довольно трудным и довольно продолжительным путем к этому искусству — рисуя «общее», рисуя жизнь, как она есть, в то же время выражать свое личное, задушевное, и притом так, что чем объективнее, «холо́днее» изображение «общего», тем как раз больше в этом изображении своего, задушевного. На первых порах Антоша Чехонте в своих картинах природы — по заложенному в этих картинах чувству — немногим возвышался над своими многочисленными персонажами — «дачниками». Но когда тема природы появилась у Антоши Чехонте не в сочетании с темой «дачников», а в сочетании с темой народа, в творчестве Антоши Чехонте и появились совершенно новые ноты — появилась писательская зрелость. Пусть не заподозрят нас в том, что мы стремимся обязательно загримировать Чехова «народным писателем», — ни в каком народном гриме Чехов, разумеется, не нуждается. Но бесспорно, что теме природы и народа в раннем творчестве Чехова до сих пор уделялось слишком мало внимания. Эти темы рассматривались как побочные. А ведь именно в таких, например, рассказах, как «Мертвое тело», в таких, казалось бы, «случайных» для Чехова произведениях, как «День за городом» или «На реке», яснее всего ощущаешь те стороны жизни, которые заставили Чехова глубже задуматься над действительностью и над своим собственным искусством. Неудивительно, что, взявшись за первое свое «серьезное» произведение для того, чтобы дебютировать им в «большой» литературе, Чехов избрал тему «Степи».

Во всей мировой литературе найдется мало писателей, которые владели бы трудным искусством литературного пейзажа так, как владел им Чехов. «Степь» была прекрасным торжеством этого чеховского искусства. Но значение «Степи» совсем не исчерпывается собранием искусно набросанных пейзажей, как то полагали многие первые читатели этой чеховской повести.

Напрасно сам Чехов говорил о «Степи» как о повести, посвященной «специальной» теме. Не краеведческий очерк написал Чехов, не степную энциклопедию в поэтической оправе! «Степь» — это повесть не о природе, а о природе и народе, о судьбах людей из народа, которые, странствуя по степи, избирают свои дороги по жизни. Чувство природы помогало Чехову лучше разгадывать духовный склад народа, жившего среди этой природы. И так же, как без человека природа казалась Чехову словно клеткой без птицы (так писал Чехов в своих очерках «Из Сибири»), такой же клеткой без птицы, мертвой вещью было для Чехова искусство, если оно равнодушно проходило мимо человека.

«Степь», как мы сравнительно недавно узнали об этом из новых материалов, была только свободно набросанным вступлением, своего рода песней-прологом к большому, широко задуманному роману об Егорушке, роману о жизни русских столиц и судьбах молодых провинциальных русских людей. Будущее Егорушки представлялось Чехову печальным. Придавленный равнодушием, черствостью, несправедливостями, Егорушка гибнет. Через степь Чехов вел Егорушку к трагедии — к самоубийству.

Прекрасны, как степь с ее высокими травами, ручьями и прохладными балочками, возможности русской жизни, но не такова сама эта жизнь, — так словно говорил Чехов своему читателю.

Этого романа Чехов не написал. Но во многих других чеховских произведениях мы узнаем обрывающуюся выстрелом судьбу Егорушки — судьбу гимназиста Володи, землевладельца Иванова, поэта Треплева.

Так, вместе с мыслями о родине, воплощенными в широко набросанных картинах природы, в симфонических пейзажах, вступила в круг творческих идей молодого Чехова мысль о человеческом материале как величайшей ценности, которая портится, калечится и уничтожается то с непостижимой небрежностью, то с преступной жестокостью. И если «Степь», с одной стороны, приводит нас к «Мужикам» и «В овраге», то, с другой стороны, она приводит нас к такому произведению, как «Три сестры», где мотив загубленного человеческого материала, загубленного зря, бессмысленно, позорно, достигает огромной символической силы. Судьба трех сестер, трех хороших русских женщин, по чистоте и сердечному богатству являющихся родными сестрами пушкинской Татьяны и толстовской Анны Карениной, придает бытовым сценам в провинциальном доме Прозоровых подлинную трагичность.

Непонимание дореволюционной критики преследовало Чехова. Когда Чехов написал «Палату № 6», глава народнической критики Михайловский признавал за нею только значение повести, вскрывающей непорядки в провинциальных больницах. Когда Чехов написал «Холодную кровь», Общество покровительства животным выразило ему благодарность и предложило ему пост редактора своего органа — этим грошовым гуманистам показалось, что автор в своем рассказе хотел провести мысль... о необходимости лучшего ухода за рогатым скотом во время его провоза по железным дорогам!

Но чаще всего Чехова обвиняли в равнодушии к народу и родине.

Между тем мыслями о народе и родине внутренне пропитано все творчество Чехова, и просто невозможно представить себе Чехова вне родины, представить себе его хотя бы на минуту отрекшимся от нее, как отрекшегося от нее гражданина или поэта.

И, пожалуй, самое важное в современном изучении Чехова — понять и до конца почувствовать эту чеховскую песнь о своей родине.

Иван Алексеевич Куратов

(100 лет со дня рождения)

Вся страна отметила 17 января текущего года столетие со дня рождения замечательного деятеля народа коми, поэта и ученого Ивана Куратова.

Трудно представить себе более тяжелый творческий путь, чем путь Ивана Алексеевича Куратова. Даровитый поэт-демократ всю жизнь творил на языке народа, не имевшего своей письменности. Образованнейший человек своего времени, Куратов перевел на язык коми Пушкина, Лермонтова, Беранже, Вольтера, Бернса, Гюго и других русских и европейских поэтов, зная, что переводы эти не будут прочитаны при его жизни. Ни одного из сотен созданных им оригинальных стихотворений Куратов тоже не увидел в печати. И все же он продолжал творить, потому что сознавал свою миссию — быть создателем литературного коми-языка, потому что он горячо верил в будущее своего народа, как и всех других малых народов Российской империи, и работал впрок для будущих поколений. Жизнь Куратова— это творческий подвиг, беспримерный в истории человечества.

Сын дьячка, Иван Куратов попал в бурсу, а затем в Вологодскую семинарию, в годы, когда передовое поколение России зачитывалось статьями Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Социальная страстность произведений Чернышевского пленила И. А. Куратова на всю жизнь. Вера в грядущий переворот, который устранит социальную неправду, не покидала его ни на один день. Она-то и давала ему силы творить впрок, снося все гонения, уготованные ему царским правительством.

Окончив семинарию, Куратов отказался от духовной карьеры и предпочел стать педагогом. Местом работы он избрал Устьсысольск, захолустный городок на Вычегде, через полвека после смерти поэта ставший столицей социалистической республики Коми. Но не долго привелось Куратову поработать в среде своего народа. Поэт-педагог, вольнодумец, писавший про всесильных служителей культа такие эпиграммы:

Их проповедь знакома
И так невыносима:
Рай вечно на запоре,
Геена же неугасима... —

уже через четыре года после окончания семинарии насильственно удаляется с родины сперва в Казань, а вскоре в далекую Среднюю Азию, где через девять лет и умирает от чахотки, затравленный царизмом, как Хетагуров, как Лермонтов, как Полежаев, как десятки других певцов свободы.

Последователь Чернышевского, младший соратник и ученик Некрасова, Куратов рассматривал свое поэтическое дело как непрестанное служение народу. А так как народ, выдвинувший Куратова, коми (зыряне), помимо социального гнета еще знал и гнет национальный, то и Куратову приходилось наносить удары по двум направлениям — против душителей народа, помещичье-царских заправил, и одновременно против национальной коми-буржуазии. Националисты никогда не могли простить Куратову его язвительных и страстных выпадов против их грязной пропаганды. Возмущенный мышиной возней националистических групп и группочек, Куратов писал:

Что вы спорите? С испуга —
Фигой дразните друг друга? —

и дальше спрашивал своих противников: вы что, боитесь, что коми перестанут быть коми и сольются с русскими? Да разве об этом надо спорить. Если нашему народу суждено жить, пусть он наравне с русскими, с карелами, с ненцами, с суоми живет сознательной и счастливой жизнью.

Такая постановка вопроса столь резко расходилась со всеми «установками» национальной буржуазии, что националисты буквально не могли слышать имени Куратова.

Они старались замолчать и опорочить работу Куратова и даже после Октябрьской революции подняли травлю против его памяти. Рукописное наследство Куратова было расхищено и частично увезено за границу. Лучшие его произведения стали приписываться никогда не существовавшему поэту Гугову. Лишь после разгрома националистов произведения Куратова увидели свет, и коми-читатель получил возможность знакомиться с творениями родоначальника коми-литературы.

Среди стихотворений Куратова особенную ценность представляют его поэмы и стихи, созданные на фольклорном материале («Гости», «Коми-бал», «Микул», «Молодой бедняк», «Абрис»). В этих произведениях Куратов не просто перепевает народные мотивы, он каждым стихотворением зовет его к лучшей, более сознательной, более целеустремленной жизни. Народ коми должен стряхнуть спячку, должен найти в себе силы к сопротивлению бедам, какие валятся на его голову.

Поэт-просветитель Куратов так определял назначение своей музы: поэт должен показать

Ханжество в монашеской одежде,
Паразита, что народом правит.
Наш народ своей десницей давит —
И — людей,
Чья жизнь — одно ненастье,
Ждущих после смерти счастья...

Нам известно свыше двухсот стихотворений Куратова, написанных на языке коми, и несколько на русском. Поражает разнообразие форм и тем, использованных Куратовым. Тут и элегии, и бичующие эпиграммы, и лирические песни, и обличительные сказки, и широкие реалистические картины коми (зырянской) жизни. Свободно владевший двадцатью языками, Куратов прививал коми-литературе высшие достижения мировой поэзии. Любопытно вспомнить, что как раз в те годы, когда народ коми впервые услышал на родном языке и Вольтера, и Пушкина, и Беранже, Фет писал:

У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет...

К зырянам (коми) пришел свой Тютчев; но таковы были условия царской империи, что один народ России не имел никакого понятия о том, что творится в недрах другого народа И не только Фет, никто из русских поэтов или литературоведов даже не предполагал до самых последних лет, что коми-народ имел уже в то время передового писателя.

Куратов как поэт по праву должен занять место равного среди лучших русских поэтов XIX столетия. В творчестве его всегда присутствовала горячая и проникновенная мысль. Этим он близок нам до сих пор. Все явления жизни, становясь объектом его творческого внимания, облекались в поэтические образы. Страстная, ищущая, глубокая, свободная и трезвая мысль помогала поэту переносить и те удары, какие судьба щедро расточала смелому борцу за раскрепощение коми-народа. Уже наполовину сраженный, видящий неизбежный близкий конец, находясь в далеком изгнании, поэт не уставая говорит о том, что кровь в его сердце продолжает оставаться горячей, как кипящая смола. Эти слова предсмертного стихотворения прекрасно определяют весь облик Куратова. Не только кровь в его сердце была подобна кипящей смоле, но и мысль его кипела непрестанно. Он ознакомился с сочинениями всех виднейших философов и мыслителей своего времени и широко прокомментировал прочитанное. Эти комментарии представляют значительный интерес и для нашего времени. Когда мы читаем в его примечаниях к Шопенгауеру: «Если идеалистическая философия падает, то уже пора. Надо же и честь знать», — мы ясно видим в Куратове человека, стоящего на нашем берегу. Лишенный возможности прочесть Маркса, Куратов тем не менее, хотя и ощупью, все же подходил к тем положениям, которые так блистательно развили Маркс и Энгельс. В этом отношении Куратов как мыслитель всегда оставался близок к Чернышевскому.

Особенную ценность из всех прозаических произведений Куратова представляют его филологические работы. В 1865 году он опубликовал в вологодских газетах ряд статей об основах языка коми. В следующие за тем годы он усиленно работает над составлением грамматики для поволжских народов России — для марийцев, удмуртов, мордвы. В этих работах опять сказалась его неугасимая вера в близкое раскрепощение народов империи. В условиях царизма ни мордве ни удмуртам грамматика была не нужна. Только освобожденные народы могли надеяться на развитие своих языков и своей литературы. В предвидении этого освобождения и работал Куратов.

Но бывали у поэта и минуты слабо-

сти. Наличие в творчестве Куратова таких стихотворений, как «Метель», «Болезнь», «Раздумье», «Лодка», «Тьма» и некоторых других, националисты пытались объяснить мистико-пессимистическим складом ума поэта. Эта гнусная клевета рассыпается в прах при внимательном прочтении любого из названных произведений. Вот стихотворение «Тьма», написанное в год первой высылки поэта:

С давних пор укутана планета
В эту тьму тяжелую ночную:
Все живое — в черное одето,
Средь людей — людей не отыщу я!

Стихотворение это было объявлено в свое время чуть ли не гимном безысходности. Однако прочтем его внимательнее:

Злой вампир летает по отчизне,
Нашей кровью теплою питаясь...
И зову я солнце нашей жизни
В этой тьме... Зову и задыхаюсь.

Вижу я за тьмой окаменелой
Краешек серебряный, несмелый...
Выйди, солнце! Пусть во всей красе
Засияет радуга в росе!

Что же это? Пессимизм? На всякий непредвзятый взгляд проявленная поэтом способность даже в условиях окружавшей его мглы увидеть краешек солнца и надеяться на его восход должна быть названа не пессимизмом, а самым доподлинным оптимизмом.

Так же неосновательны и другие обвинения, возводимые на Куратова националистами. За лирику его называли сентиментальным мечтателем, за никогда не покидавшую поэта любовь к природе — «малоценным и неглубоким лириком».

Когда слились мы в первом поцелуе—
Никто не видел нашего волненья...
Лишь только звезды синий свет струили
Сквозь ночь, в земное, теплое цветенье.

Одна звезда с небес тогда упала
И морю рассказала нашу тайну.
И рыбаку ту тайну нашептала
Душа волны, как будто бы случайно.

Своей любимой спел рыбак веселый
Об этой тайне песенку простую...
И вот — по всем проселкам и по селам
Поют о нашем первом поцелуе!

Стихотворение это, написанное девятнадцатилетним юношей, показывает, в какого большого лирика мог бы вырасти Куратов, живи он в эпоху, более благоприятствующую развитию лирической поэзии.

Судьба определила ему другое — быть поэтом-борцом. Вместо мягких лирических настроений гораздо чаще встретим мы в его стихах строчки, полные горечи и гнева.

Еще недавно я бранил
Родной свой город, говорил:
«Отсюда вынесете ль, черти,
Меня до нежеланной смерти?»
Но обошлось и без чертей:
Приказ дан — выехать скорей.
Да что так скоро? Может статься,
Мне кой с кем надо попрощаться:
Один, другой, десятый тут —
Мне в голову сейчас идут.
Неужли с ними навсегда я
Прощаюсь, ныне уезжая?
Мне дорог день, мне дорог час,
Друзья, когда я вижу вас!
Врагов, и тех уж почему-то
Мне стало жаль покинуть круто...
Не насолю им больше я!
А ты, зыряночка моя, —
Неужли, горем пораженный,
Я буду только в грезе сонной
Твой образ видеть? Так угас
Мой день... Будь проклят ты, приказ!

В этом «Прощанье», написанном по-русски, Куратов прощается не только с друзьями, родным городом и возлюбленной, которой посвящал лирические стихи, — он прощался в этих строках с относительно спокойной долей поэта-ученого и становился окончательно и навсегда поэтом-борцом за счастье и свободу своего народа. Со времени высылки из Сыктывкара поэта никогда не покидало сознание высокой обязанности, какую он призван выполнять. Стихи его, изданные в настоящее время на коми-языке, доказывают это.

Мы могли бы назвать Ивана Алексеевича Куратова коми-Некрасовым, если бы во многих его стихах не сказывалось явственное влияние Пушкина, Гейне и других поэтов. Куратов был разносторонний поэт. Эта-то разносторонность, сочетавшаяся с пламенной социальной направленностью всей его поэзии, и обеспечивает ему почетное место в ряду крупнейших поэтов XIX века.

К сожалению, на русском языке до сих пор издан лишь небольшой сборничек его стихов в переводах Ивана Молчанова. Муза Куратова заслуживает того, чтобы ею заинтересовались и другие

лучшие советские поэты. Пламенный демократ, глубокий мыслитель, тонкий лирик — Куратов должен войти в сознание советского читателя как родной брат Коста Хетагурова, Константина Иванова, Абдуллы Тукая, Гафури, Токтагула и других замечательных поэтов-классиков советских народов, народов, строящих ныне великую многонациональную социалистическую культуру и великую многонациональную советскую литературу.

П. Скосырев

Стефан Жеромский

(75 лет со дня рождения)

Стефан Жеромский не был революционером. Но в то время как декаденты во главе со Станиславом Пшибышевским искали приюта от надвигавшихся революционных бурь в фантастике и мистике, Жеромский имел смелость пристально всматриваться в окружавшую его мрачную действительность и реалистически отражать ее в своих произведениях. Он сам страдал многими пороками польской шляхты, но он хорошо знал эти пороки и порой беспощадно обнажал их. Он видел, как рядом с праздной шляхтой, влачившей дни свои в безделье и сытости, изнемогал под непосильным бременем нищеты и угнетения трудовой народ, и он рассказывал об этом ярко и волнующе, будя сострадание к угнетенным и ненависть к угнетателям.

Именно благодаря этому Жеромский сумел создать ряд произведений, которые освежающей струей влились в польскую литературу на рубеже нашего века.

Незабываемы рассказы и небольшие повести Жеромского, в которых он мастерски, скупо и выразительно запечатлел тяжелую и беспросветную жизнь крестьян и рабочих. Как живые встают Валек и его жена, с рассвета до поздних сумерек сгибающие спины на торфяном болоте («В сумерки»). Жена слышит плач ребенка, «жалобный, как писк котенка на пустыре», но не решается уйти с болота, ибо знает гнев Валека,— «знает, как он умеет срывать тряпку с ее головы, обмотать себе руку ее волосами и тащить ее, трепещущую от страха, по дороге»; она знает, что управляющий платит двадцать копеек вместо обещанных тридцати за кубическую сажень, и что надо докопать до колышка, обозначенного мужем. И «каждый раз, как забьет заступ, глядит, далеко ли до колышка, а когда тачка нагружена, хватает ее и бежит мелкой рысью, стараясь не отставать от мужа».

Видишь отчетливо перед собою крестьянина Обалю, на которого устроил охоту «благородный шляхтич» — помещик пан Альфред («Забвение»). У Обали умер сын, не было досок, чтобы сколотить гроб, и он подобрал в лесу несколько досок, принадлежавших помещику. Помещик в этот день отправился со своими гостями охотиться на уток. Но он увидел следы Обали, и охота на уток превратилась в охоту на человека. Обалю поймали, бил собственноручно помещик, бил управляющий, а потом крестьянину был предложен выбор: «Четыре рубля и рубль на костел, или в тюрьму».

Жеромский видел каторжную жизнь рабочих. Это он, Жеромский, вложил в уста героя своих «Бездомных людей», доктора Юдыма, слова, которые тот произносит, указывая Иоасе на хижины безработных: «Я должен развалить эти норы... Здесь люди околевают на тридцатом году жизни, потому что они к этому времени уже старятся, а дети их рождаются идиотами».

Жеромский видел страдания «бездомных людей», он стал певцом их страданий и мук, но никогда не понимал подлинных путей борьбы, которая принесла бы конец этим страданьям и мукам. Его герои — революционеры-одиночки, которые или гибнут в неравной борьбе, или смиряются перед кажущейся им непобедимой силой угнетателей. Таковы и доктор Юдым, и доктор Обарецкий из рассказа «Силачка», и героиня этого рассказа, сельская учительница Стася, и Радусский, и Ева из «Луча», и многие другие. И точно так же, как Жеромский не понимал подлинных путей борьбы, он не понимал и целей, за которые боролись передовые трудящиеся в своем стремлении к установлению справедливого общественного строя, к свободной и радостной жизни.

Жеромский был и всю свою жизнь оставался националистом. Революционный вихрь 1905 года захватил многих

польских писателей, в том числе и Жеромского, но его увлекали не те великие цели, за которые боролся пролетариат, а ограниченные националистические стремления. Эта ограниченность мировоззрения Жеромского пагубно отражалась на всем его творчестве, даже на тех рассказах и повестях, о которых мы говорили выше. Жеромский всегда оставался представителем той самой шляхты, которую он обличал, и на трудящихся и их страдания он смотрел не глазами революционного борца, а глазами сердобольного шляхтича...

Это очень отчетливо сказалось в концовке упомянутого рассказа «Забвение». Жеромский описывает картину, представившуюся его глазам вслед за расправой с Обалей. На одной из самых высоких сосен сидел мальчуган и длинной палкой сбрасывал из гнезд маленьких птенчиков, еще не умевших летать. Внизу на земле сидел другой мальчуган и ловил их. Как безумная летала ворона-мать, садилась чуть ли не на плечи мальчугану, хватала клювом его палку и каркала хриплым, отчаянным криком. «Я опять лег на траву, — замечает автор. — Какое мне дело до всего этого!» И дальше: «Я позавидовал Обале и вороне. И тот, и другая скоро забудут... Для них «жить» — значит «забыть», — а добрая природа позволяет им забыть сейчас же... Ах, как я им завидовал!» Может быть, бессознательно, но в этих строках Жеромский со всей самокритичностью определил и оценил свое отношение к народу и его страданиям.

Но в этих же строках выразилась вся ошибочность и ложность представлений Жеромского. Миллионы Обалей в панской Польше не забыли обид, нанесенных им панами Альфредами и их управителями, а Жеромский, который будто бы завидовал им, очень скоро забыл и о них и об их страданиях.

Жеромский-националист обнаружил себя вполне после той скорбной даты в истории польского народа, когда двадцать два года тому назад волею версальских победителей образовалась «самостоятельная» Польша. Жеромский решил, что исполнились вековые мечтания польского народа, что сбылись надежды Кристофа Цедро из его романа «Пепел», который сложил свою голову в войсках Наполеона, веря, что спасает «свою землю». Жеромский отдался шовинистическому угару, отравившему Польшу. Он написал антибольшевистскую пьесу «Стану белее снега», а за свое националистическое произведение «Ветер с моря» удостоился правительственной премии.

Ненавистью к революции и националистическими иллюзиями пропитано и последнее произведение Жеромского — его роман «Ранняя весна». Революция представлялась ему как «новое, дикое владычество, невыразимое и непонятное». Ему близок был по духу выведенный им в романе Симон Гаевец, воплощение националистического фанатизма, принесшего столько бедствий польскому народу.

Но Жеромский, как и в первые годы своего литературного творчества, не убоялся посмотреть в глаза польской действительности. Он привел своего героя Цезаря Барыку из охваченной революционным пожаром России в «возрожденную» Польшу, где ему рисовалась новая жизнь. И Жеромский показал своему герою то, что он увидел сам в новой Польше: голодную жизнь трудящихся, угнетение и произвол правящей польской шляхты над рабочими и крестьянами, порабощение народов — украинцев, белоруссов, евреев.

Жеромский видел, что все это прикрывается пышными националистическими лозунгами, которыми он руководился сам в течение всей своей жизни и которые не потеряли для него своей святости. И он свел в резком споре двух своих героев — Симона Гаевца и Цезаря Барыку. Когда Гаевец стал излагать те националистические бредни, которые так недавно проповедывал сам Жеромский в своих ура-патриотических произведениях, Цезарь Барыка возразил ему: «Словом, все, всегда и везде — Польша, Польши, Польше, Польшу... Беда не в том, что поляки остаются поляками. Дело в том коренном недостатке, что во всех разрешениях философских и социальных проблем как deus ex machina встает Польша. Это напоминает мне старый анекдот о том, что поляк, который должен был написать сочинение о слоне, без колебания вывел: «Слон и Польша...» Современная Польша совершенно не похожа на тот идеал, который рисовали те люди (речь идет об общественных деятелях XIX века.— *М. Ж.)*... Во всяком случае, безошибочно то, что в те времена Польша по крайней мере никого не угнетала, не преследовала, не держала в цепях. Здесь слишком мало делается, чтобы освободить бедняков внутри страны от внутренней неволи... Слишком долго

придется ждать, пока здесь возьмутся за работу».

На чьей стороне был Жеромский? Не может быть и речи о том, чтобы он стал на тот путь, по которому неминуемо должен был пойти Цезарь Барыка. Но его вчерашний alter ego Симон Гаевец предстал уже перед ним в новом свете, поколебленный в основах своих истин, казавшихся недавно Жеромскому непреклонными и незыблемыми. Более того, Жеромский отчетливо увидел тот следующий этап, который неотвратимо предстал Цезарю Барыке после того, как он отвернулся от Гаевца. И Жеромский показал этот путь.

После того как Цезарь Барыка побывал на собрании коммунистов, он мог бросить Гаевцу не только робкие сомнения, но и решительные и суровые обвинения. Он говорил ему об издевательствах и пытках над трудящимися в Западной Белоруссии и Западной Украине, об обездоленности еврейских масс, о нищете крестьянства. «Ваша идея, — говорил он Гаевцу, — старые лозунги немощных людей, которые не раз уже приводили Польшу к гибели... Полицейский, вооруженный всеми орудиями пыток, — вот на чем держится Польша».

И Цезарь Барыка пришел к выводу, что прав не Гаевец, а коммунист Люлек, мечтавший о том, чтобы кончилась эта злополучная «независимость» и можно было еще немного пожить на свете.

Жеромский не пришел к этим выводам. Когда его стали упрекать в пропаганде коммунизма, Жеромский в письме в редакцию заявил, что он «никого не звал на путь коммунизма», что он «пытался, насколько возможно, перейти дорогу коммунизму, предупредить, напугать», что он хотел «попасть в польскую совесть».

Это весьма вероятно. Но важно то, что художник-реалист, заглянув в грязную тину польской действительности, не мог не увидеть, как глубока и бездонна эта грязь, не мог не понять, что для всех, сознававших трагический ужас переживаний польских трудящихся масс и гнилость буржуазно-помещичьего строя панской Польши, открывался один лишь путь — путь к коммунизму.

И не случайно Цезарь Барыка оказался не только литературной фигурой, которой Жеромский хотел напугать польских панов, но и одним из тысячи честных интеллигентов, шедших в рядах коммунистических демонстраций на Бельведер — резиденцию бездарных заправил Ржечи Посполитой.

«Предупреждение» Жеромского превратилось в грозное обвинение захватчикам и поработителям. И когда сегодня перечитываешь «Раннюю весну», становится особенно ясно, что глазами художника-реалиста Жеромский видел обреченность гнилого в своем основании здания «независимой» Польши, возведенного тщеславной польской шляхтой на штыках версальских победителей.

Жеромский не был революционером, он был плотью от плоти польской шляхты, осужденной сегодня историей, но он был на голову выше своих бездарных современников, и он сумел создать ряд произведений, которые волнующе рассказывают о переживаниях польского народа, которые показывают неприглядное лицо угнетателей и которые сохранят имя Жеромского в истории мировой литературы.

М. Живов

Встреча с писателями периферии в редакции „Литературного обозрения"

10 декабря 1939 года в редакции журнала «Литературное обозрение» состоялась встреча сотрудников журнала с областными писателями, прибывшими в Москву на открывшиеся при Союзе советских писателей курсы-конференции.

Встреча была посвящена обсуждению помещенных в ряде номеров «Литературного обозрения» статей о краевой и областной литературе. В обмене мнениями приняли участие тт. Рыленков (Смоленск), Калинченко (Иркутск), Гуревич (Иркутск), Сартаков (Красноярск), Патреев (Горький), Марков (Иркутск), Баныкин (Куйбышев), московские критики и писатели — М. Эгарт, О. Перовская, Ф. Левин, И. Сац, М. Никитин. Ряд товарищей с удовлетворением отметил серьезный сдвиг в практике «Литературного обозрения» последнего периода, сдвиг, выразившийся в более активном освещении краевой и областной литературы, в систематическом помещении статей о периферийных альманахах и сборниках, введении постоянной рубрики с информацией о деятельности местных издательств и т. д.

Все это обусловило, в свою очередь, и рост внимания к журналу со стороны периферийного читателя. Тов. Гуревич, например, констатирует, что в Восточной Сибири, которую он представляет, журнал «читают не только люди, непосредственно связанные с литературной работой, но и просто люди, которые проявляют большой интерес к литературной жизни».

Такого же рода факты приведены в выступлениях других товарищей.

Участники совещания, конечно, правы, когда подчеркивают, что не следует переоценивать достижения, имеющиеся в работе журнала «Литературное обозрение». Он еще не охватывает в полной мере тех больших и сложных процессов, которые происходят в литературной жизни областей, у него еще не налажена непосредственная связь с местами, даже информация о новинках областной литературы носит еще зачастую случайный характер. Некоторым товарищам представляется сомнительным и самый принцип построения обзоров, появляющихся в «Литературном обозрении». В этих обзорах обычно дается оценка всем решительно рассказам и стихотворениям, помещенным в рецензируемых сборниках и альманахах, что приводит, в конечном счете, к скороговорке, к поверхностности суждений, беглости характеристик. Лучше выбрать что-нибудь наиболее типичное, показательное, — безразлично, в положительном ли или отрицательном смысле — и на этом концентрировать свое внимание, исходя из этого, дать представление о лице данного альманаха. Отмечены были и другие недостатки в работе «Литературного обозрения» — среди них и такой существенный, как отсутствие в журнале статей, обобщающих типичные для областной литературы процессы.

Как и на всех встречах критиков и писателей, на совещании в «Литературном обозрении» в центре внимания оказался вопрос о т о н е критических статей. Конкретным поводом к постановке вопроса послужила статья Е. Усиевич («Л. О.» № 18) об альманахе смоленских писателей «Родина». По мнению тов. Рыленкова, поддержанного рядом других товарищей (Сартаковым, Перовской, Эгартом и др.), статья Е. Усиевич не в меру резка и сурова и способна обескуражить критикуемых авторов. Рыленков, кроме того, утверждает, что статья написана с несвойственной Е. Усиевич бездоказательностью, что он объясняет пренебрежительным якобы отношением к «провинциальным людям».

И. Сац и Ф. Левин указывают на необоснованность и произвольность такого рода допущений. Они говорят о праве критика на тон, обусловленный его отношением к произведению, о его праве на возмущение, негодование и иронию, если критикуемая вещь дает к этому основания. Многие из выступав-

ших на совещании принципиально как будто не возражали против этого положения, но в их речах звучали все же нотки, свидетельствующие о некоторой противоречивости занимаемой ими позиции. Требуя, с одной стороны, честной принципиальной критики, не делающей никакой скидки за счет «периферийности», они в то же время не переставали подчеркивать, что критики, пишущие об областных и краевых писателях, не должны забывать о резонансе, который получают их статьи, не должны забывать, что иной раз неблагоприятный отзыв столичного журнала о книге периферийного автора влечет за собой самые неожиданные последствия. Были случаи, когда библиотекари после такого отзыва отказывались рекомендовать раскритикованную книгу читателю, а литературные организации даже снимали с повестки дня вопрос... о предоставлении квартиры раскритикованному писателю!

Бесспорно, возмущение вызывают все случаи такого рода, свидетельствующие об ограниченности и тупости некоторых окололитературных людей, не в меру одержимых «административным восторгом». Но с этим должно бороться точно теми же методами, какими мы боремся и со всеми другими нарушениями социалистической законности и морали, чинимыми одними по непониманию, другими — из злого умысла. Критик же не может и не должен в своей работе исходить из учета подобных обстоятельств.

Нетерпимость к критике — болезнь весьма распространенная. Заражены этой болезнью и многие областные литераторы. Об этом говорил в своем выступлении тов. М. Эгарт, приведший в качестве примера воронежских писателей, которые демонстративно не явились на совещание в «Литературном обозрении» в знак «протеста» против оценки, данной на страницах журнала их альманаху. С таким зазнайством необходимо всячески бороться, так же как и с неправильными, упрощенными представлениями иных писателей о функциях и природе критики.

Первое совещание редакции «Литературного обозрения» с областными и краевыми писателями протекало в дружественной и деловой атмосфере. Оно, безусловно, послужит толчком к дальнейшему расширению круга деятельности журнала и к установлению между ним и писателями периферии теснейшего контакта, без которого не представляется возможным отражать на страницах журнала литературную жизнь областей во всех ее основных проявлениях и достижениях.

Я. Р.

Живые цифры

Первая книга Вл. Вл. Маяковского вышла в 1913 году. Это был тоненький сборник стихов «Я» — с пятнадцатью страничками текста. Невелик был и тираж — всего триста экземпляров. В следующем году появилась вторая книга — трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом «Владимир Маяковский». Тираж ее, так же как и первого сборника, исчислялся сотнями экземпляров. Незначительны были тиражи и других дореволюционных изданий поэта.

Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции книги Маяковского стали печататься тысячными тиражами.

В годы гражданской войны, в годы разрухи и голода сборники Маяковского расходились в десятках тысяч экземпляров. За первые пять лет революции общий тираж книг поэта (по далеко не полным данным) превысил двести пятьдесят тысяч единиц. Однако эта цифра по сравнению с последующими годами кажется небольшой. В 1924 году стихи и поэмы Маяковского вышли в тираже 266 тысяч экземпляров, в 1930 году — 254 тысячи экземпляров, в 1936—685 900 экземпляров, а в 1938 году тираж книг достиг 2 245 600 экземпляров. Всего же за 26 с половиной лет (с 1913 по первую половину 1939 года) издательствами было выпущено свыше шести миллионов двухсот тысяч экземпляров произведений Маяковского.

В музее Вл. Вл. Маяковского, откуда мы получили данные о тиражах, нам сообщили и другие цифры, которые не менее выразительно говорят о растущей из года в год популярности великого поэта, о глубокой любви советских читателей к вечно живому слову Маяковского.

Стихотворения и поэмы Маяковского не только переиздаются в сборниках поэта. Они часто перепечатываются в газетах и журналах. За 1937—1938 и первую половину 1939 года произведения

поэта перепечатывались в различных изданиях 366 раз. Особенно часто — 33 раза — перепечатывались «Стихи о советском паспорте». Они появились в многотиражке Сталинградского тракторного завода «Даешь трактор», в «Горьковском рабочем» (г. Горький), «Коллективной жизни» (г. Кимры, Калининской обл.), «Красном маяке» (Николаевск-на-Амуре) и других.

Написанные десятилетие назад стихи Маяковского воспринимаются и сейчас так, как будто бы они созданы сегодня. И газеты часто откликаются на то или иное событие стихами Маяковского. Так, газеты «Ленинский путь» (Дзержинск, Смоленская область), «Пионер Востока» (Ташкент) и многотиражка завода «Серп и молот» «Мартеновка» в день 15-летия смерти В. И. Ленина перепечатали стихотворение «Владимир Ильич Ленин»; «Сталинградская правда» в первомайском номере поместила отрывок из поэмы «Хорошо» — «И жизнь хороша и жить хорошо»; «Кировский рабочий» в номере, посвященном физкультурному параду, дал стихотворение «Мускул свой, дыханье и тело тренируй с пользой для военного дела».

Стихи Маяковского стали подлинным достоянием народа. Слово поэта вошло в быт, подобно тому, как вошли в повседневную речь советского гражданина образы и слова Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова. В 1938 году в нашей печати появилась 351 статья, в которых упоминалось имя Маяковского, и 139 статей, в которых цитировались его стихи. Об исключительном интересе трудящихся СССР к жизни и деятельности Маяковского красноречиво свидетельствуют и следующие цифры: за один 1938 год в газетах и журналах было напечатано 604 статьи о творчестве Маяковского и 375 информационных заметок о вечерах, выставках и докладах, посвященных «талантливейшему поэту нашей советской эпохи».

В. Л.

По издательствам

Книга папанинцев

Ко второй годовщине снятия со льдины отважной четверки папанинцев Гослитиздат выпускает книги героев Советского Союза И. Д. Папанина — «Жизнь на льдине» и Э. Т. Кренкеля — «Четыре товарища».

Настоящее издание «Жизни на льдине» значительно отличается от первого. И. Д. Папанин переработал ряд глав и снабдил книгу введением, которое знакомит читателя с историей завоевания полюса неприступности, с подготовкой экспедиции, ее участниками, научным значением ее работ. Книге предпослано предисловие редакции «Правды» к первому изданию.

Книга Э. Кренкеля представляет дневник героического дрейфа папанинцев. Она содержит записи с марта 1937 года по февраль 1938 года и охватывает период подготовки экспедиции, дрейфа и завершения работ станции «Северный полюс».

Хотя в хронологическом отношении дневники тт. Папанина и Кренкеля охватывают одно и то же время, но это — совершенно не похожие книги. Они различны по стилю, по выбору объектов наблюдения и т. д.

Книги для Западной Белоруссии и Западной Украины

Гослитиздат выпускает серию книг для читателей Западной Белоруссии и Западной Украины.

Серия включает следующие произведения советских писателей: «Мать» М. Горького, «Поднятая целина» М. Шолохова, сборник избранных стихов и поэм Вл. Маяковского, «Железный поток» А. Серафимовича, «Рожденные бурей» Н. Островского, «Разгром» А. Фадеева, «Хлеб» А. Толстого, «Чапаев» Д. Фурманова, «Танкер Дербент» Ю. Крымова, «Кочубей» А. Первенцева, «Одиночество» Н. Вирта. Каждая книга снабжена портретом и краткой биографией писателя.

Кроме этого, в серию входят выпущенные издательством литературно-художественные сборники «Ленин», «Сталин» и «Песни Страны Советов».

Издаются книги на русском языке, тиражом 25 тысяч экземпляров каждая.

«Над Кубанью»

Писатель Арк. Первенцев работает над большой эпопеей из жизни кубанского казачества «Над Кубанью».

Выпускаемые Гослитиздатом первые две книги романа охватывают эпоху империалистической войны и первые годы революции.

Основное содержание книг: начало гражданской войны на Кубани, мобилизация сил кулацко-атаманской верхушки казачества, назревание корниловского мятежа, с одной стороны, и постепенное сплочение казацкой и иногородней бедноты вокруг советской власти, формирование красногвардейских отрядов— с другой.

Писатель рисует картины первых боев красногвардейцев с белыми, широко показывает жизнь и быт казачества.

Переводы Б. Пастернака

В издательстве «Советский писатель» сдана в набор книга переводов Бориса Пастернака — «Приинц Гомбургский» Генриха фон Клейста и мелкие переложенья». Драма известного немецкого романтика Клейста занимает первый раздел книжки. Во второй раздел включены переводы стихов: Шекспира («Музыка», «Зима», 66-й и 73-й сонеты), Уолтера Ралей («Сыну»), Байрона («Стансы к Августе»), Джона Китса (из «Эндимиона», «Ода к осени», «Кузнечик и сверчок», «Море»), Александра Петефи («Дворянин», «Моя любовь», «Кабаки не редкость», «Скинь, пастух, овчину», «В конце года»), Поля Верлена («Ночное зрелище», «Так брезжит день...», «Зелень», «Искусство поэзии», «Томление», «Среди необозримо унылой равнины...», «Хандра») и Иоганнеса Р. Бехера («Лютер»). Третья, заключительная, часть сборника посвящена народному театру эпохи немецкой реформации. Сюда входят четыре одноактных фарса знаменитого немецкого поэта-мейстерзингера Ганса Сакса: «Немецкая масленица», «Эйленшпигель со слепцами», «Корзина разносчика», «Фюнзингенский конокрад и вороватые крестьяне».

«Накануне»

Выпускаемый издательством «Советский писатель» роман С. Мстиславского «Накануне» посвящен событиям февральской буржуазной революции 1917 года.

Роман охватывает время с декабря 1916 года по 3 апреля 1917 года — день приезда Ленина в Петроград.

Наряду с вымышленными персонажами в романе обрисован целый ряд исторических лиц — представителей различных политических партий и течений той эпохи.

«Музыканты»

Роман О. Черного «Музыканты» выходит в издательстве «Советский писатель».

В романе повествуется о переживаниях музыканта, порожденных его борьбой за овладение подлинным большим искусством, о его сомнениях и надеждах, о его первых шагах на артистическом пути.

Московская консерватория, краевое музыкальное училище, учащиеся и профессора, пианисты, скрипачи, дирижеры, певцы — такова обстановка и среда, на фоне которых развиваются события жизни героев романа — молодых людей, стоящих на пороге самостоятельной музыкальной деятельности.

«Моя родословная»

Издательство «Советский писатель» выпускает книгу стихов Михаила Матусовского «Моя родословная». Это — первая книга поэта. В ней собраны стихи о советском Донбассе, о его людях, о красногвардейцах, о детях.

Стихи Клары Блюм

Сборник стихов талантливой немецкой поэтессы Клары Блюм сдал в производство Гослитиздат.

Небольшая по объему книга (всего в два авторских листа) знакомит с творчеством поэтессы, характерными чертами которого является глубокий интернационализм, органическое сочетание лирической и революционной темы.

В сборнике представлены стихи, посвященные Румынии, где протекало детство Блюм, революционной Испании, Советскому Союзу, современной борьбе в Китае.

«На фронтах Северного Китая»

«На фронтах Северного Китая» — это книга очерков о великой освободительной войне китайского народа.

Книга принадлежит перу Джемса Бертрама, английского журналиста, превосходного знатока современного Китая.

Бертрам рисует отдельные эпизоды героической борьбы китайских крестьян и рабочих за независимость своей родины. Перед читателем проходит галлерея живых образов китайских бойцов и партизан. Особенно интересны страницы, описывающие жизнь и борьбу бойцов VIII народно-революционной армии Китая.

Выходят очерки в Гослитиздате.

«Хуан Мартин эль Эмпесинадо»

Роман «Хуан Мартин эль Эмпесинадо» является одним из выпусков первой серии «Национальных эпизодов» Бенито Переса Гальдоса, посвященной борьбе испанского народа за свою независимость в эпоху наполеоновских войн.

Ведущий персонаж произведения — Габриэль Арасели — уже знаком советскому читателю по романам «Сарагоса» и «Кадикс».

В романе рассказывается дальнейшая история любви Арасели к Инес, незаконной дочери знатной испанской дамы—графини Амаранты.

Но Арасели и Инес выведены автором лишь для того, чтобы придать связность повествованию. Подлинные же герои произведения — испанский народ, герильеры (партизаны) и их вождь Хуан Мартин эль Эмпесинадо

Выходит «Хуан Мартин» Гальдоса в серии Гослитиздата «Исторические романы» с предисловием Ф. Кельина.

«Книга для болельщиков»

«Книга для болельщиков» — под таким названием издательство «Советский писатель» выпускает книгу рассказов И. Рахтанова о спортсменах и физкультурниках: пловцах, бегунах, боксерах, стрелках. Книга включает портретные очерки о мастерах советского спорта — боксере Михайлове, бегунах братьях Знаменских, конькобежце Аниканове и др.

«Чрево Парижа»

«Чрево Парижа» Э. Золя издает Гослитиздат в серии «Дешевая библиотека» в переводе А. Линдегрен, под редакцией М. Эйхенгольца.

За рубежом

Новая книга Джона Стейнбека

Получивший мировую известность американский писатель Джон Стейнбек, автор смелого разоблачительного романа о разорении американских фермеров «Гроздья гнева», произведшего огромное впечатление в Америке и подвергшегося яростной травле со стороны американских реакционеров, готовит к печати книгу: «Безработица, ее причины и возможные способы облегчения ее». Книга будет состоять из трех статей и выйдет в американском издательстве «Викинг пресс».

Ненаписанные сказки Оскара Уайльда

В декабре 1891 года в парижской газете «Эко де Пари» была помещена статья «Английский поэт в Париже». Автор статьи, Жак Дорель, сообщая о пребывании Оскара Уайльда в Париже, заканчивал ее такими словами: «Могу сообщить поклонникам Оскара Уайльда последнюю новость: через несколько месяцев Оскар Уайльд опубликует сборник сказок под заглавием «Гостиница снов».

Сборник, о котором писал Жак Дорель, не был опубликован, и, повидимому, сказки, задуманные Оскаром Уайльдом для этого сборника, не были им написаны. Сообщением газеты заинтересовался французский литературовед Гюйо де Секс. В течение многих лет он собирал воспоминания о поэте его друзей и знакомых и всех, кто мог запомнить те беседы во время которых Оскар Уайльд любил рассказывать о своих поэтических замыслах и в присутствии слушателей отделывать задуманные им произведения. Гюйо де Сексу удалось восстановить три сказки, предназначавшиеся для сборника «Гостиница снов», в том виде, в каком Оскар Уайльд рассказывал их своим собеседникам. Сказки, озаглавленные «Стеклянный глаз», «Человек и тайна» и «Остров забвения», опубликованы во французском журнале «Нувель ревю франсэз».

«Расин и зарубежные страны»

К исполнившемуся 21 декабря 1939 года 300-летию со дня рождения Расина французский литературно-критический журнал «Ревю де литератюр компарэ» выпустил специальный номер, посвященный великому драматургу, в котором все статьи объединены одной темой: «Расин и зарубежные страны», и сообщают сведения о переводах Расина на языки этих стран, о постановках его пьес, о критической оценке их и о влиянии его трагедий на литературу различных стран. «Журнал предлагает нам сделать смотр и узнать, какой прием был оказан нашему великому поэту-трагику в Англии, Германии, Италии, США, Швейцарии, Голландии, Болгарии, Мексике, — пишет парижская газета «Нувель литерер». — «Это, конечно, наилучшая почесть, которая только была оказана Расину по случаю его 300-летнего юбилея».

Негритянский писатель-изгнанник

В Нью-Йорк прибыл талантливый писатель и поэт, гражданин республики Гаити, Жак Румэн, изгнанный из своей родной страны за участие в борьбе своего народа против порабощения и эксплоатации. Эта борьба отражена в его поэзии и прозе. Интересен и своеобразен жизненный путь этого 32-летнего негритянского писателя. Жак Румэн происходит из богатой буржуазной семьи, он — внук бывшего президента республики Гаити. Ребенком он был отправлен родителями в Швейцарию, окончил среднюю школу в Берне, высшее образование получил в Цюрихе, Мюнхене, Париже. Высоко культурный, глубоко образованный, Жак Румэн не мог ужиться в Европе, где он постоянно чувствовал различие между белым и негром, которое сказывалось в отношении к нему даже самых либеральных его европейских друзей. Черный цвет кожи превратил его в отверженца. Он вернулся на родину к своему народу. В одном из своих рассказов Жак Румэн говорит о своих скорбных переживаниях в Европе и о безмерной радости, которую он испытал, когда вновь вступил на родную землю Гаити.

Но эта радость, продолжалась недолго. Жак Румэн вскоре понял, что между его классом и негритянскими массами его родины нет ни дружбы, ни братства. Помещики, многие из которых породнились с белыми путем смешанных браков, презирали и эксплоатировали негритянский народ. Жак Румэн был потрясен невообразимой нищетой народных масс и бесчувственностью и развращенностью богатой буржуазии.

Произведения Жака Румэна, написанные им в 1927—1928 годах, отражают его переживания в этот период. Еще в Европе он начал писать стихи на немецком языке, но, вернувшись в родную страну, он избрал для своих литературных работ господствующий в республике Гаити французский язык. В сборнике рассказов «Добыча и тень» и в романе «Призраки» он показал упадок того класса, к которому он принадлежал по рождению. Отвернувшись от этого класса, он стал присматриваться к жизни крестьян. Самый известный его роман «Заколдованная гора» живо и сильно описывает быт крестьян, находящихся в полуфеодальной зависимости от помещиков, их жалкое существование в горах Гаити.

Вскоре Жак Румэн переходит к активной политической деятельности, выступает в защиту забастовщиков в городе Порто-Прэнс, столице республики Гаити, подвергается преследованиям, его берут под подозрение, за каждым шагом его следят, корреспонденция его конфискуется. В 1934 году Жак Румэн предается военному суду по ложному обвинению во ввозе оружия с целью свержения правительства и приговаривается к трехлетнему тюремному заключению за «измену».

Как сообщает нью-йоркская газета «Дейли уоркер», выдающиеся американские писатели и артисты оказали негритянскому писателю-изгнаннику весьма радушный прием и организовали чествование его.

«Шекспир в Америке»

В американском издательстве Мак-Миллэн вышла книга Эстер Дэнн «Шекспир в Америке».

Шекспир в понимании и толковании американской критики, театра и школы на всех этапах американской истории, начиная со времен английского владычества до настоящего времени, — таково содержание книги.

В книге, по отзыву нью-йоркской газеты «Дейли уоркер», много нового и весьма интересного материала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Новые книги

Советская литература

АЛИГЕР, М.—Железная дорога. Стихи. М. Гослитиздат. Стр. 112. Тираж 5 000. Ц. в переплете 3 руб. 50 коп.

АРДОВ, В. — Букет. Иллюстрации автора. М. «Сов. писатель». Стр. 220 с илл. Тираж 10 000. Ц. в переплете 3 руб. 25 коп.

БАЖОВ, П. — Малахитовая шкатулка. Сказы старого Урала. Рис. А. А. Кудрина. Свердловск. Облиздат. Стр. 168 + 15 вкл. лист. илл. Тираж 14 000. Ц. в переплете 12 руб.

БРЫКИН, Н. и НЕДОБРОВО, В. — Оборона Петрограда. Киноповесть. Л. «Сов. писатель». Стр. 220. Тираж 15 000. Ц. в переплете 3 руб. 75 коп.

ВАДЕЦКИЙ, Б. — Возвращение. Повесть. М. Гослитиздат. Стр. 152 с илл. Тираж 10 000. Ц. в переплете 3 руб. 25 коп. Повесть о Т. Шевченко.

ВОЛЖЕНИН, В. и ЗОЩЕНКО, М. — Третья нить. Одна ночь. Корни капитализма. Л. — М. «Искусство». Стр. 72. Тираж 15 000. Ц. 65 коп.

ГОРЬКИЙ, М. — Рассказы о героях. М. Гослитиздат. Стр. 72. Тираж 50 000. Ц. 75 коп.

ЗОНИН, А. — Капитан «Дианы». Историческая повесть. М.—Л. Военмориздат. Стр. 120. Ц. 1 руб. 30 коп.

ИЛЬФ, И. и ПЕТРОВ, Е. — Собрание сочинений. В 4 томах. Т. IV. Одноэтажная Америка. М. «Сов. писатель». Стр. 392. Тираж 10 000. Ц. в переплете 7 руб. 50 коп.

КАЙТАНОВ, И. — Наше небо. Л. «Сов. писатель». Стр. 200. Тираж 15 000. Ц. в переплете 4 руб.

КОПКОВ, А. — Царь Потап. Драма в 3 актах. Л. — М. «Искусство». Стр. 80. Тираж 5 000. Ц. в переплете 1 руб. 50 коп.

ЛАПИН, Б. и ХАЦРЕВИН, З. — Рассказы и портреты. М. «Сов. писатель». Стр. 260. Тираж 10 000. Ц. в переплете 4 руб.

МАЯКОВСКИЙ, В. В. — Полное собрание сочинений. В 12 томах. Под общей ред. Н. Асеева и др. Т. II. Стихи и статьи 1917—1925. Ред. и комментарии Б. Тренина. М. Гослитиздат. Стр. 684+14 вкл. лист. илл. Тираж 20 000. Ц. в переплете 11 руб.

МАЯКОВСКИЙ, В. В. — Полное собрание сочинений. В 12 томах. Под общей ред. Н. Н. Асеева и др. Т. III. Пьесы в стихах. 1918—1930. Ред. и комментарии А. Февральского. М. Гослитиздат. Стр. 472 + 19 вкл. лист. илл. Тираж 20 000. Ц. в переплете 11 руб.

Наш рост. Литературно-художественный сборник Ярославского областного отделения ССП. К выборам в местные Советы. Ярославль. Облиздат. Стр. 216. Тираж 5 000. Ц. 2 руб. 10 коп.

ПЕТРУШИН, И. — Потомки Прометея. Стихи (1934—1939 гг.). Орел. Изд-во Обкома ВКП(б) и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР. Стр. 56. Тираж 7 125. Ц. 1 руб.

ПРИШВИН, М. — Собрание сочинений. Т. IV. Берендеева чаща. М. Гослитиздат. Стр. 480. Тираж 10 000. Ц. в переплете 9 руб.

УТКИН, И. — Лирика. М. Гослитиздат. Стр. 216. Тираж 10 000. Ц. в переплете 3 руб. 75 коп.

ФАТУЕВ, Р. — Легенды Кавказа. Орджоникидзе. Крайгиз. Стр. 80 с илл. Тираж. 10 000. Ц. в переплете 3 руб. 50 коп.

ФИШ, Г. — Первая винтовка. Рассказы. М. «Сов. писатель». Стр. 264. Тираж 10 000. Ц. в переплете 5 руб. 25 коп.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ, С. — Каменный щит. Повесть. Л. «Сов. писатель». Стр. 156. Тираж 15 000. Ц. в переплете 4 руб.

ШПИРТ, А. — Голубой ковер. Хогбар (сказания). М. «Сов. писа-

тель». Стр. 48. Тираж 5 000. Ц. в переплете 1 руб. 50 коп.

ЩЕГЛОВ, Д. — Девичье озеро. Народная драма в 4 д. Л. — М. «Искусство». Стр. 120. Тираж 5 000. Ц. в переплете 1 руб. 80 коп.

Литература народов СССР

Великому Сталину. Песни народов Кавказа. Сост. Э. Капиев. Орджоникидзе. Крайгиз. Стр. 64. Тираж 5 000. Ц. в переплете 3 руб. 50 коп.

ГОФШТЕЙН, Д. — Новые просторы. Стихи. Пер. с еврейского. М. Гослитиздат. Стр. 128. Тираж 5 000. Ц. в переплете 4 руб. 25 коп.

ДАРАСЕЛИ, В. — Клятва. Лирика. Ростов н/Д. Ростиздат. Стр. 80. Тираж 5 000. Ц. в переплете 3 руб.

ЗАБАРА, Н. — Два сына. Рассказы. Пер. с еврейского Б. Маршак. Киев. Укргоснацмениздат. Стр. 48. Тираж 10 000. Ц. 55 коп.

КАГАН, А. — Рассказы. Пер. с еврейского. Киев. Укргоснацмениздат. Стр. 40. Тираж 10 000. Ц. 50 коп.

КИПНИС, И. — Не суждено. Пер. с еврейского Б. Маршак. Киев. Укргоснацмениздат. Стр. 32. Тираж 10 000. Ц. 35 коп.

ЛЕОНИДЗЕ, Г. — Стихи. Авториз. пер. с грузинского под ред. В. В. Гольцева. М. Гослитиздат. Стр. 148. Тираж 5 000. Ц. в переплете 4 руб. 50 коп.

ОРЛЯНД, Г. — Последняя зима. Рассказ. Пер. с еврейского Б. Маршак. Киев. Укргоснацмениздат. Стр. 24. Тираж 10 000. Ц. 30 коп.

Песни горцев. Ред. и комментарий Э. Капиева. М. Гослитиздат. Стр. 256. Тираж 5 000. Ц. в переплете 4 руб. 50 коп.

Поэзия Советской Украины. Антология. Под ред. М. Бажана и др. М. Гослитиздат. Стр. 424. Тираж 10 000. Ц. в переплете 10 руб.

Солнечный Туркменистан. Литературно-художественный альманах. Ашхабад. Туркменгосиздат. Стр. 208. Тираж 10 000. Ц. в переплете 11 руб.

ФЕФЕР, И. — Стихи. Пер. с еврейского. Киев. Укргоснацмениздат. Стр. 48. Тираж 10 000. Ц. 75 коп.

ХЕТАГУРОВ, К. — Дуня. Фантазия в 4 д. Орджоникидзе. Госиздат Сев.-Осетинской АССР. Стр. 110. Тираж 3 000. Ц. 2 руб.

ЧИКОВАНИ, С. — Стихи. Изд. 2, доп. Авториз. пер. с грузинского под ред. В. В. Гольцева. М. Гослитиздат. Стр. 144. Тираж 5 000. Ц. в переплете 4 руб.

ШИРАЗ, О.—Стихи. Пер. с армянского. М. Гослитиздат. Стр. 112. Тираж 5 000. Ц. в переплете 3 руб. 50 коп.

Литературное наследство

КОЦЮБИНСКИЙ, М. М. — Избранные произведения. Пер. с украинского. М. Гослитиздат. Стр. 556. Тираж 20 000. Ц. в переплете 9 руб.

КУРАТОВ, И. А. — Стихи. Пер. с коми яз. И. Молчанова. М. Гослитиздат. Стр. 84. Тираж 10 000. Ц. в переплете 2 руб. 25 коп.

ЛЕРМОНТОВ, М. Ю. — Полное собрание сочинений. Ред В. М. Эйхенбаума. Т. I. Стихотворения. Л. Гослитиздат. Стр. 111+424+8 вкл. лист. илл. Тираж 40 000. Ц. в переплете 8 руб. 50 коп.

ЛЕРМОНТОВ, М. Ю. — Стихотворения и поэмы. Вступ. статья и комментарии М. Юнович. М. Гослитиздат. Стр. 528. Тираж 25 000. Ц. в переплете 4 руб. 50 коп.

НИКИТИН, И. С. — Избранные произведения. Ред., вступ. статья и примечания В. Тонкова. Воронеж. Облиздат. Стр. 344+8 вкл. лист. илл. Тираж 10 200. Ц. в переплете 13 руб.

Старинные водевили. М. — Л. «Искусство». Стр. 248. Тираж 10 000. Ц. в переплете 5 руб.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. Г. — Полное собрание сочинений. В 15 томах. Под общей ред. В. Я. Кирпотина и др. Т. XI. Что делать? Юношеские произведения. Под ред. П. И. Лебедева-Полянского. Подготовка текста и комментарии Н. А. Алексеева и А. П. Скафтымова. М. Гослитиздат. Стр. 752. Тираж 12 000. Ц. в переплете 13 руб. 50 коп.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. Г. — Что делать? Из рассказов о новых людях. Предисл. В. Я. Кирпотина. Примечания Н. В. Богословского. М. Гослитиздат. Стр. 592. Тираж 25 000. Ц. в переплете 5 руб.

Биографии и мемуары

ВАХТАНГОВ, Е. — Записки Письма. Статьи. Сост. и коммент. Н. М. Вахтангова и др. М. — Л. «Искусство». Стр. XVIII+408 с илл Тираж 5 000. Ц. в переплете 19 руб.

Фольклор

Абхазские народные сказки. Пер. с абхазского и обработка Н. Сапежко. Под ред. Г. Д. Гулия. Сухуми. Абгиз (ССП Абхазии). Стр. 94. Тираж 3 100. Ц. в переплете 3 руб.

Былины и исторические песни Южной Сибири. Записи С. И. Гуляева. Ред., вступ. статья и комментарии М. К. Азадовского. Новосибирск. Облиздат. Стр. 196. Тираж 10 000. Ц. в переплете 6 руб. 45 коп.

Сталин в творчестве народов СССР. М. «Правда» (Б-ка «Огонек», № 58). Стр. 48. Тираж 50 000. Ц. 20 коп.

Творчество народов СССР о Сталине и Красной Армии. М. Воениздат (Политическое управление РККА). Стр. 344+25 вкл. лист. илл. Ц. в переплете 15 руб.

Литературоведение

ВАСИЛЬЕВ, В. — Бестужев-Марлинский на Кавказе. Краснодар. Крайгиз. Стр. 132. Тираж 3 000. Ц. 2 руб. 25 коп.

Глеб УСПЕНСКИЙ. Ред. и комментарии А. С. Глинки-Волжского и Г. А. Лемана. М. (Гос. лит. музей. Летописи. Кн. 4). Стр. XVI + 676 + 8 вкл. лист. илл. Тираж 5 000. Ц. 35 руб.

Сборник неопубликованных очерков Г. Успенского, писем, мемуаров и воспоминаний о Г. Успенском.

Давид САСУНСКИЙ. Юбилейный сборник, посвященный 1000-летию эпоса. Ереван. Армфан. Стр. 178. Тираж 30 000. Ц. в переплете 15 руб.

ДОРОНИН, П. — Творчество И. А. Куратова. Сыктывкар. Коми-гиз. Стр. 80. Тираж 5 000. Ц. 2 руб.

МАЛИНКИН, А. — Коста Хетагуров (Жизнь и деятельность). Орджоникидзе. Госиздат Сев.-Осетинской АССР. Стр. 52. Тираж 10 000. Ц. 1 руб.

МЕССЕР, Р. — А. Н. Толстой. Критический очерк. Л. Гослитиздат. Стр. 176. Тираж 5 000. Ц. в переплете 3 руб.

НЕЧАЕВ, В. С. — В семье и усадьбе Достоевских (Письма М. А. и М. Ф. Достоевских). М. Соцэкгиз (Музей Ф. М. Достоевского). Стр. 160. Тираж 5 000. Ц. в переплете 4 руб. 80 коп.

ПУШКИН. Временник Пушкинской комиссии. Т. 4—5. М. — Л. Акад. наук СССР. (Ин-т литературы). Стр. 618 с илл. Тираж 4 000. Ц. в переплете 20 руб.

РАФИЛИ, М. — Мирза Фатали Ахундов. Баку. Азернешр. Стр. 352+8 вкл. лист. илл. Тираж 10 000. Ц. в переплете 7 руб. 50 коп.

РАФИЛИ, М. — Низами. Жизнь и творчество. Ред. Р. Рза. Баку. ССП Азербайджана. Стр. 108. Тираж 5 100. Ц. 1 руб.

Русские писатели о литературе (XVIII—XX вв.). Отрывки из писем, дневников, статей, записных книжек, художественных произведений. В 3 томах. Под общей ред. С. Балухатого. Т. I. Л. «Сов. писатель». Стр. I +498. Тираж 3 000. Ц. в переплете 18 руб. 50 коп.

Тезисы о жизни и творчестве Коста Хетагурова. (К 80-летию со дня рождения). Орджоникидзе. Госиздат Сев.-Осетинской АССР. Стр. 20. Тираж 1 050. Беспл.

ФАДЕЕВ, А. — Литература и жизнь. Статьи и речи. М. «Сов. писатель». Стр. 168. Тираж 10 000. Ц. в переплете 2 руб. 50 коп.

Государственное издательство «Художественная литература» И. о. отв. редактора **Ф. ЛЕВИН**

Адрес редакции: Москва, 9, Тверской бульвар, 25. Тел. К 1-64-30
Вып. К. Санникова. Сдано в произв. 14/I 1940 г. Подп. к печати 23/II 1940 г.
Бум. 60×92 1/16 см. Тир. 20 000 экз. Печ. л. 4. Уч. авт. л. 6. Зак. № 94.
Уполн. Главлита РСФСР № А—21181.

Тип. и цинкография Гослитиздата. Москва, 1-й Самотечный пер., 17.

Цена 1 руб.